

сергей
саканский



когда
приходит
андж



роман

Сергей Юрьевич Саканский

Когда приходит Андж

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6317425

*Саканский С.Ю. Когда Приходит Андж: Роман. : Аквис, Гуманитарный фонд содействия культуре; Москва; 1998
ISBN 5-866-76-012-6*

Аннотация

С.Саканский родился в 1958 г. под Москвой. Работал в газетах, журналах, практиковался в режиссуре театра и кино. Печатался в отечественных и зарубежных изданиях. Член Союза Российских писателей.

Роман «Когда Приходит Андж», до сих пор публиковавшийся лишь в отрывках, впервые выходит в полной редакции.

Окончив школу с золотой медалью, Анжела отправляется в Москву – искать свое счастье. Ее одноклассник Лешка, беззаветно влюбленный в девушку, узнаёт, что на чужбине у нее появился другой. Правда, был и третий, таинственный жилец мансарды, с которым Лешка (он же всеильный, всемогущий АНДЖ) уже разобрался при помощи револьвера системы наган, купленного им в Латинском квартале... Впрочем, роман представляет не запутанный клубок человеческих отношений, как это кажется на первый взгляд. Перед вами коридор зеркал, каскад галлюцинаций: действие происходит не столько

на просторах бывшего СНГ – в Ялте и Москве, Киеве и вымышленном городе Санске, в прошлом и фантастическом будущем, – сколько в сознании читателя, который к финалу рискует сойти с ума. Так что, подумайте, прежде чем заказывать книгу: текст опасен для тех, кто подвержен колебаниям в сфере эмоций, психически неуравновешен, страдает различными фобиями, а также снобизмом. Автор не раз обманет читателя, выдавая ложную реальность за настоящую, и временное торжество последнего сменится его полным поражением. Текст также не рекомендуется детям до шестнадцати лет, поскольку содержит ненормативную лексику, сцены секса и насилия.

Печатается с сохранением авторской орфографии

Содержание

Часть первая	6
1	7
2	13
3	24
4	31
5	41
6	45
7	53
8	60
9	67
10	73
11	82
12	98
13	102
14	130
15	135
Конец ознакомительного фрагмента.	138

Сергей Саканский

Когда приходит Андж

© Сергей Саканский, 1998

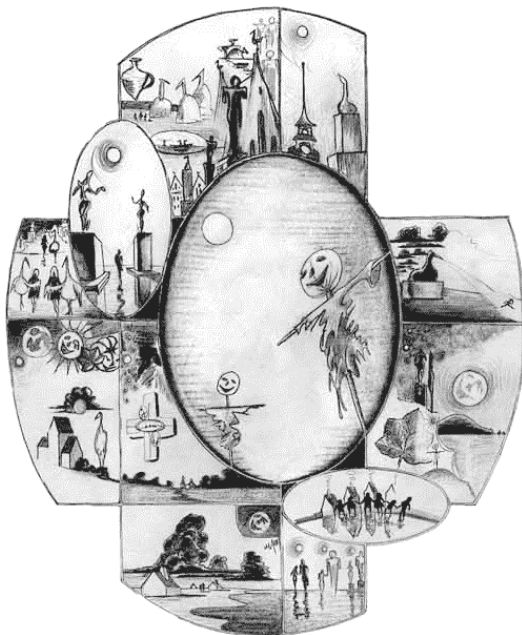
© Издательство «Аквис», оформление, 1998

© Ronald M. Benson, иллюстрации, триптих «Луна», 1998

© С.Митроченков, фото, 1998

Часть первая

Жилец мансарды



1

Анжела любила однотонные, необычайно яркие ткани, их удивительное звучание овладевало пальцами, когда за больно страдающим цветом она видела четкие тени своей ладони. Анжела доставала из коричневой резной шкатулки свои банты и ленты, свои великолепные лоскутки, сжимала в горсти, удивляясь их отдельным существованиям, нежеланию сливаться в полутона, и длинным жестом бросала в комнату. Они медленно тонули в полумраке, не освещая, но возделывая его, ложились в новом порядке на предметы, создавали складки, симфонию, пир.

Бирюзовой она называла ослепительную ленту белого шелка, выделанную каким-то способом из молодой березовой коры, индиго крепко связывалось с Индией, ее темнозеленым цветом: все эти редкие заморские слова заключали в себе неразрешимое счастье цветения, и все, кроме явно себя выдающего аквамарина, понимались неверно.

Однажды Анжела сшила просторную светлоголубую юбку гораздо ниже колен, создание этого шедевра отняло не более часа, бордовая блузка в новом сочетании неожиданно закричала, в волосы девушка вплела алый бант и мгновенно превратилась в пятнадцатилетнюю. Белые носки, босоножки и коричневый пояс обманули зеркало еще года на полтора, Анжела схватила коробку театрального грима, раскраси-

ла щеки розовым, но, посмотрев себе в зрачки, увидев их непоправимую седину, успокоилась: годы были на месте, далеко за двадцать, может быть даже под пятьдесят, и никого уже не обманут ни черные, длинные, слегка волнистые волосы, ни большие, кошачьи, совершенно вишневые глаза...

Некоторое время она сидела на веранде и думала о дыме, о его мутной дымности, уничтожающей цветные стекла, потом выбежала из дома и быстро прошлась из конца в конец по набережной, видя взгляды удивления, восторга, жалости, под платанами встретила учительницу математики (Анжела, ты с ума сошла – Здравствуйте!) и вдруг подумала, что от брошенного окурка дом объят пламенем... Но все было в порядке, так же блестела капля солнца на стенных давно мертвых часах отца.

Утром одна девчонка передала ей записку, выразив солидарность с новой идеей, и в тот же день они обе допоздна сидели за машинкой, строчили, тихо смеясь, а в воскресенье медленно, вальяжно прогулялись по городу – широко волновались платья, два раскачивающихся колокола, готовые зазвенеть, мелко тряслись от смеха банты... Через неделю в городе появилось уже несколько сильно раскрашенных девчонок, а через месяц все девчонки города (кроме явных консерванток, рано готовивших себя в матроны) стали похожими на Анжелу, первооткрывательницу, но настоящее счастье пришло весной, когда Анжеле принесли французский журнал мод: каким образом идея дошла до Парижа, ее не волно-

вало, но факт оставался фактом: Анжела, советская школьница, восторжествовала по всему миру, и главная прелесть была в ее анонимности, нынешней затерянности среди прочих лялек – и слово новое для этого нашлось.

Яркорозовые, яркосиние раздуманные *ляльки* шагали теперь по улицам и набережным всех городов мира, появились и соответствующие кавалеры под них, с длинными, гладко блестящими губами, в светлых свободных брюках о больших карманах, чтобы можно было, глубоко засунув в них руки, посвистывая, небрежно войти, скажем, в кафе. Человечество вдруг помолодело, развеселилось особой жгучей улыбкой, красной, с ямочками на щеках, с чуть загнутыми вверх уголками губ...

Приятнее всего было делать фейерверки наверху, в солнечной мансарде, где ленты цеплялись за пыльные золотые лучи, властно ложились на чужие вещи: очень корректный футляр электрической бритвы уничтожен нежностью алого лепестка, а кокетливое махровое полотенце, нестерпимо синее, зачеркнуто пунцовой строкой и превращено во флаг Французской республики. Анжела стоит неподвижно, воображая себя размышляющей статуей без рук, вдруг в мысли врывается будущее – удивительное, феерическое, реальное и уже совсем близкое...

– Вон из Массандры! Шлюха! Во-он отсюда! – это кричит мать, спяну перевирая слово, что Анжелу не смешит, она сходит по лестнице, пряча обожженную руку, внизу стоит

высокая, давно ненавистная женщина, указательный палец она вбивает в ближайшее пространство, палец дрожит, она концертно выкрикивает:

– На панель! – словно немедленно предлагая идти, хочет что-то добавить, но в калитке появляется владелец черного футляра, виновник оскорбительного слова, хозяйка расплывается ему навстречу: Ну как? Теплая водичка? Я переменяла белье (это ложь, что оно чистое, просто другое, знает Анжела) мать подходит вплотную к жильцу и просит денег, немного вперед, надо кой-чего по хозяйству, он поднимается к себе с неприятной улыбкой, искоса смотрит на девушку, осторожно прикрывает дверь.

Анжела запирается в своем сарае, ставит на пол свою шкапулку (и когда успела собрать?) вдруг громко и страстно хохочет, выбрасывает руку с указующим перстом на восток, топает ногой:

– В Массандру!

Спустя минуту она летит вниз, чувствуя тянущую инерцию поворотов, по бывшей Гимназической улице, мимо бывшей гимназии, ее школы, которая через месяц станет также бывшей, там недолго едет в рогатом до рынка, потом долго пешком; она знает, что мать сейчас движется поверху, в массандровский магазин (кой-чего по хозяйству) где ждут ее друзья в очереди за самым дешевым вином города; Анжела привычно целует в шею невысокую веерную пальму с желтыми мучнистыми цветами, чихает от пыльцы, забирается

в уютную щель в бамбуковой рошце и там действительно плачет.

Вчера вечером кто-то осторожно поскребся о доски сарая, Анжела отложила книгу, вопросительно посмотрев на дверь, потом встала, сделала прыжок к порогу и, заложив руки за спину, продекламовала басом:

– Входи, таинственный незнакомец!

Но ее улыбка так и застыла внутри, не распустившись: это был не Лешка, а жилец, его глаза слабо фосфоресцировали, он медленно протянул руку и тронул ее обнаженное плечо. Анжела взглянула на длинные пальцы, меж ними выступила ее побелевшая кожа... Он осторожной щепотью взял Анжелу за подбородок и вернул ее голову на место, вынудив смотреть ему точно в желтые глаза; его мягко улыбнувшиеся губы плавно приблизились, тонкая поцелуйная трубочка в конце острого лица коснулась ее брезгливо сжатых губ, она услышала: моя нежная, моя хорошая, безумно люблю тебя! – откинулась: не смей говорить так! – твердое уперлось ей в живот, какая-то немислимая третья рука забралась сзади под платье, сдавила ягодицу (тише моя звездочка, тише) и Анжела отчетливо крикнула: Мама, иди же сюда! – удивившись запретному слову...

– Чего тебе? – недовольно спросила мать так близко, словно присутствовала тут же, что было акустическим эффектом сарая. Насильник отпрянул, сделав руками смутное движение, как бы накидывая на Анжелу сеть.

– Пошел вон, – спокойно сказала Анжела, и он повиновался с молчаливым поклоном.

– Добрый вечер, – донеслось уже с улицы.

– Вы очень любезны, – видимо, он протянул в окошко розу, которую тут же в саду и сорвал. Вероятно, у матери был посетитель.

2

Все это произошло потому, что позавчера жилец, этот стареющий, но молодой гражданин с бритвой – Анжела не могла определить его возраста, что-то между двадцатью пятью и пятидесятью – предложил ей (как они это почти всегда делали) показать ему город.

Он подстерег ее на лестнице за калиткой, красивый, седой, когда Анжела, в изумительной своей синей юбке шла проверять розы (Прекрасная погода, сударыня, не правда ли? – О да, сэр! В здешних местах солнечные дни столь редки. – Не будете ли вы столь любезны...)

Он шел выше по склону, почтительно отставая на шаг, провоцируя Анжелу запрокидывать голову и выворачивать глаза: она видела перевернутый торс, они спускались садом, листья хлопали их по щекам.

– Милая девушка, покажите мне что-нибудь вам дорогое, знакомое с детства, особенно радующее.

Она было возмутилась, но вдруг ей пришло на ум нечто: сейчас я ему покажу, злорадно сказала она сама себе.

– Вот это, – спустя два поворота махнув на свою школу, объявила она, – есть бывшая синагога. Весь наш квартал, впрочем, еврейский. До революции здесь жили одни менялы и лавочники. Их выселили вместе с татарами, по ошибке, но потом они хитрым образом вернулись, и что же? Увидели, что

в их домах живут уже другие, злые люди и не хотят их пускать... Что вы – тут были даже уличные бои, баррикады!

Жилец внимательно слушал, кивая головой в такт ее пассажирам. Голубые глаза были добры и пристальные, они немного смеяшничали, казалось, он и вправду верит ей.

– А знаете, что это за дерево?

– Нет, – улыбнулся жилец.

– Это (Анжела сымпровизировала и тут же забыла трехэтажное латинское имя, и жилец медленно сощурился на нее) Зимой у него созревают большие острые стручки, они лопаются и летают туда-сюда, как бешеные огурцы. Иногда прохожим вышибает глаза.

Они быстро спустились вниз, вместе заваливаясь на поворотах, как два велосипедиста, на углу Кирова Анжела, подпрыгнув, шлепнула обеими сандалиями по брусчатке.

– На этом самом месте, – возмущенно воскликнула она, – большевики расстреляли из наганов моего родного дедушку.

– Кем же был ваш дедушка?

– Офицером. В прошлом году мы с братом ездили во Францию за наследством, но таможенники немедленно заставили передать его в фонд мира.

– А кто ваш брат?

– Офицер. Лейтенант старший – и брат и лейтенант. Видите этого парня в клетчатых кальсонах? Неделю назад он признался мне в любви.

(Лешка, насвистывая, прошел мимо, гордо не заметив, он

мило держал кулаки в карманах, его свободные ноги выделяли замысловатые кренделя...)

– В вас можно влюбиться, сударыня, – серьезно сказал жилец, подождав, пока Лешкин топот уйдет. – Будь я помоложе да получше...

– Ах, разве возраст имеет какое-то значение... – Анжела потупилась, внутренне смеясь, и жилец стал молча разминать папиросу.

Анжела рассказала о том, что в часовой башне давно уже нет механизма и его работу выполняет специальный человек, постоянно и медленно двигая стрелки. Она рассказала о том, что с крыши розового дома на Партизанской в марте бросился отчаянный кот-самоубийца, но, к несчастью, зацепился за ветки и остался жив... Ее фантазия иссякла и феерического конца не находилось, к тому же ей стало скучно, ее единственный зритель с любопытством наблюдал за нею, выпуская клубы дыма, разноцветного, в зависимости от того, с чем они взаимодействовали – с гладью желтого столба или с кустами лавровишни.

– Однако, – сказал жилец, чем-то удивленный. – Вам же просто необходимо учиться, хотя ваша мама... Впрочем... Вы знаете, – вдруг горячо заговорил он, – нас, москвичей, обвиняют в том, что мы не знаем своего города, а ведь это решить можно просто, например, ввести в школах курсы истории и географии данных городов. Это моя старая идея, и сейчас я пишу об этом статью.

– Вы писатель?

– Журналист. Возьмите в воскресенье местную газету и посмотрите мой очерк. Но дело не в этом. Вам надо учиться (Анжела зевнула) В Москве много хороших вузов. Выберите себе по вкусу и приезжайте через месяц, а?

Анжела молчала, глядя на свои идущие ступни...

– Кстати, я забыл вам представиться, Анжелика, меня зовут... (Он произнес имя-отчество, сразу вылетевшее из головы, что-то вроде Борис Николаевич – скучно – он так и остался как был «жилецом»...) Вот мой телефон, – и он торопливо записал в блокнот, вырвал, словно они сейчас же расстанутся, Анжела взяла бумажку и не глядя засунула за лиф, причем жилец замолчал и сглотнул – вверх-вниз, как поплавок, качнулся его кадык.

– Мой сын учится в блестящем вузе, в замечательном, он называется МИРЕУ, и если у вас есть склонности к рисованию, то...

– Я не умею рисовать.

– Но я видел...

– Это картины брата.

– У вас правда есть брат?

– Я же сказала: старший лейтенант.

Они вдруг пошли молча. Она заметила, что идут они не как курортники, по набережной, а как местные – по Чехова.

– В этом доме, – тихо и убедительно сказал жилец, – помещалась лютеранская кирка, вон та улица называлась Лю-

теранский тупик, и жили здесь сплошные лютеране.

Анжела с любопытством посмотрела в ласковые глаза.

– Вон то дерево называется альбиция, – сказал жилец, как будто какой-то автор, хитро заморочивший голову ложными ходами, вдруг высунул свой шершавый язык между строк.

– Да неужели? – удивилась Анжела. – По-моему, это акация, ленкоранская акация (ее тончайшие нежнозеленые листочки цвета одного из ее бантов – она называла его ленкоранским – сейчас уже начали медленно сворачиваться на ночь, повисая слабыми жгутиками)

– Правильно, – назидательно подтвердил жилец. – Но второе название – латинское.

– Альбиция... – задумчиво произнесла Анжела.

– А это шикарное дерево называется айлант, причем, данный экземпляр – самый крупный на побережье.

– Вот уж нет, – засмеялась Анжела, – теперь уж вы меня мудрите! Это самая обыкновенная вонючка, зеленус вонюс вульгарис.

– Моя дорогая, это в просторечии. На самом деле – айлант. Нравится?

– Не очень. Альбиция лучше. Смотрите как... – она повернула к жильцу лицо и медленно, с нежной лабиализацией губ повторила это слово, причем жилец снова неприятно сглотнул, будто съел что-то не то.

– А вот, – продолжал он сладко, – Трахикарпус Форчуна... Анжела нахмурилась.

– Больше не нужно, – сказала она. – Это веерная пальма.

Она уже отцветает.

– Но это Трахикарпус Фор...

– Замолчите!

– Что с вами?

– Не называйте больше деревьев. И ваще, откуда вы все это знаете?

– Но радость моя! – воскликнул жилец, – разве это плохо, знать, наконец, мир, в котором живешь, вдыхать его краски, его слова, чтобы все это рассказать там, куда мы все уйдем? – он поднял глаза к небу и превратился в пастора.

Анжела тоже посмотрела вверх и увидела очень далеко птицу, которая с позиции своего парения следила за нею.

– А звезды вы знаете? – спросила она.

– Конечно, – ответил жилец. – Я даже могу вам кое-что подарить, – он порылся в кармане и протянул небольшую карту звездного неба. Анжела заглянула в нее, но неба не увидела, и накрыла карту ладонью.

– А вы можете их просто показать? – спросила она.

Жилец явно смутился и громко кашлянул. Звук был похож на откровенный выход дурного ветра.

– Для этого надо ночью пойти на открытое место, а ваша мать...

– Что вы все заладили – мать, мать! Мать вашу мать! – Анжела выругалась и жилец уставился на нее. – Я одна живу, на вилле Елена, в сарае, я свободна, вы понимаете?

– Очень даже понимаю, – почему-то опять заволновался жилец и, взорвав папиросу, стал пускать теперь уже вечерние дымы.

– Смотрите! – радостно воскликнула Анжела, схватив его за рукав, – Вон тот старичок у киоска.

– Старичок? – улыбнулся жилец. – Вовсе он никакой не старичок.

– Старичок, – твердо сказал Анжела. – Еще какой старичок, мне-то лучше знать.

Старичок Будякин в это время радушно беседовал с практиканткой киоскершей, та рделась, видимо, он говорил ей комплименты или делал гнусные предложения.

– Это, – объяснила Анжела, – одна из многочисленных живых достопримечательностей Южного берега, о них пока не пишут книжек.

– Чем же он знаменит?

– А вот этим и знаменит, – сказала Анжела, нарисовав в воздухе овальную раму, заключившую в себя старика и девочку. – Он сделал предложение руки и сердца каждой первой ялтинской ляльке.

– И вам, конечно, тоже?

– Раз десять. (Анжеле эта участь, к счастью, миновала) Это самый главный в городе жених, старичок Будякин.

– И много у вас таких старичков, то есть, тьфу... Я хотел сказать – достопримечательностей?

Анжела подумала, посчитала (София Ротару, Стару-

ха-графиня, Вова-чалма, почтальонка Лариса, Петя-пателефон и т. д.) прибавила, наконец, и себя, получилось восемь.

– Я думаю, вас все-таки девять, – сказал жилец, весело потрепав Анжелу по плечу.

– Знаете что, – сказала она, – сейчас мы с вами расстанемся, а в десять выходите к бассейну, когда будет совсем темно, ладно?

– Слушаю и повинуюсь, – с улыбкой ответил жилец и двумя пальцами коснулся на прощание ее руки.

Пока еще не стемнело, Анжела должна была проверить розы. Она знала все места в городе, где росли эти странные цветы, и сейчас, в разгар цветения, ежедневно совершала обход. Порой по ночам она выходила, крадучись, из дома и возвращалась вся исцарапанная, победно посвечивая фонариком, неся в руках охапку украденных роз, которые чаще всего росли за металлическими решетками, сторожились бешеными собаками... Хозяева надежно хранили свои цветы, словно гирлянды каких-то полных золота растительных кошельков.

Стоя в воде, цветы медленно, по часам распускались, разворачивали лепестки и горели все ярче с каждым взглядом, Анжела подолгу наблюдала градацию цвета, потом, когда они умирали и сохли, градация продолжалась, лепестки опали, Анжела растирала их между пальцами и вновь готовила чудесные розовые краски, и рисовала ими розы, опять же розы, еще более прекрасные, невыведенных и неназванных

сортов, которые в свою очередь распускались, разворачивали лепестки, сохли, питая ее новыми красками... Разумеется, наряду с некоторыми оттенками, Анжела неверно понимала и некоторые слова...

Давно ожидаемый куст у летнего почтамта наконец разразился темнопурпурными цветами, крупная, как кочан капусты, роза у купоросного фонтана – мучительно отцветала: эти огромные уроды живут недолго... Все остальные кусты молчали.

По пути Анжела встретила двух знакомых, по несколько минут, как требовал этикет, поговорила. Старичок Будякин был уже на новом месте, продолжая свой вечерний обход: он ел пирожок напротив Клуба моряков, и светловолосая пирожочница упорно не отвечала на его льстивые шутки.

В девять Анжела была дома и, воспользовавшись отсутствием Хозяйки и здоровым храповитым сном жильца (высыпался, готовясь к ночным астрономическим наблюдениям) проверила цветы натюрмортов.

Сидя на веранде, она долго следила за полетом жука, пока ласточка, спикировав, не склевала его. Смерть ничего не изменила в этом сумеречном мире...

Был теплый лиловый вечер, тонированный полной луной. Там, над Турецким берегом, некто строил лиловый облачный город, а тут, на обратной стороне Луны, Анжела, свесив ноги, сидела на подоконнике (лиловые глаза) и, вальяжно перебирая гитарные струны, пела последний ялтинский

романс, столь же сентиментальный, сколь и смешной.

*Жил на свете один старичок,
у него была серая шляпа...*

(Сначала проникновенно и тихо, как бы сдувая одуванчик... Но затем все устойчивее, тяжелее заскользили куда-то под парашют его невидимые парашютики...)

*Вечерами он липовый чай
в одиночестве пил на веранде...*

И быстро, внезапно, со скоростью дождевой воды в период дождей, полилась мелодия вниз, и на улице Кирова, на Партизанской и ниже, на Набережной – подняли головы праздные горожане, внимая все растущей, все более лиственной песне.

*Я спросил у него: для чего
старичок, тебе серая шляпа?
Почему ты все пьешь при свечах
с наслаждением чай на веранде?*

И, болтая ногами, Ангела трубочкой губ обращалась к луне, и все драматичней, все экспрессивней звучали слова, и вот уже кто-то, облокотившись на кожух шестидесятисильного двигателя канатной дороги, хорошим голосом подхватил (вытирая машинным маслом испачканный рот, роняя гаечный ключ в неизвестность...) и дальше, в порту, на борту «Гремучего», громче, обняв друг друга за плечи, раскачиваясь на фоне отраженных звезд, закончили пьяные матросы великолепный крымский романс:

*Я просил его, я умолял,
я рыдал и заламывал руки,
но на это в ответ старичок
лишь беззлобно и тихо смеялся.*

*И, уже обезумев, его
Я ударил в живот головою,
но на это в ответ старичок
лишь тихонько и тоненько пукнул...*

3

Выйдя к бассейну, Анжела плеснула в лицо жильцу быстрым светом фонарика, тот комически заслонил ладонями глаза. Анжеле стало жаль этого человека, и она вдруг решила сегодня, после астрономических наблюдений, прощаясь, плавно протянуть ему руку для поцелуя...

Жильцу не терпелось отправиться в путь, он мазурочно предложил ей локоть, но она задержалась у бассейна, высвечивая рыб. Это был круг в пять шагов диаметром, глубиной по колено, с облупившимся дном, с остатками погибшего еще до первой мировой войны фонтана. Когда-то давно Анжела мечтала починить его, фонтан в собственном саду, но таинственная труба молча уходила в землю, неизвестно где было второе отверстие, связующее ее с миром, и раскопки привели только к тому, что десятилетняя девочка была до крови бита матерью.

За рыбами так или иначе следили все жители их большого разветвленного дома, скорее, даже, сочувствовали им, точнее – смотрели на них. Обязанности кормить, гонять их, чистить водоем добровольно поделили между собой Анжела и почтальонка Лариса, живущая в башне.

Анжела повозила световым столбом в заискрившейся и вдруг принявшей вещественность воде. Рыбы спали стоя, все шесть, крупные, темнокрасные «золотые» рыбки, они не зна-

ли, что сейчас будет, Анжела знала: насладившись ожиданием, она хлопнула ладонью по воде – рыбы взбесились, заметавшись над своими тенями... Анжела увидела, что одна из них все еще спит, Анжела перегнулась через край и осторожно почесала рыбе брюхо, рыба демонстративно всплыла: она была мертва.

Уберу завтра, подумала Анжела, и внезапно ей стало так больно, так горько – невыносимо – не от самой гибели рыбы, а от того, что она подумала о ней так: уберу завтра...

Они наконец отправились. Жилец держал ее под руку, старательно светил фонарем, оба молчали. Анжеле с каждой минутой становилось все хуже.

– Куда мы идем? – спросили ее.

– В парк Эрлангера, – буркнула она.

Они прошли мимо спящей машины под чехлом, мимо взывшей вдруг собаки (Анжела знала ее, внимательно изучила ее цепную стационарность, но иногда по ночам ей казалось, что собака воет все ближе) они спустились и поднялись, минуя бездарную детскую площадку с уродливой ракетой, страшной в темноте, и, лишь забравшись на скалу, нетерпеливым движением погасив в руке спутника фонарь, Анжела подняла голову к небу.

Звезды были на месте. Она осмотрела их и успокоилась.

– Показывайте.

Глаза жильца заблестели – наступил его час, здесь, на скале Шаляпина, в зарослях небесных и городских огней, он

был единственным владельцем и директором Планетария.

– С чего же начать?

– С Медведицы, разумеется, я только ее и знаю.

– Да, обычно начинают именно с нее. Соедините мысленно две крайние звезды ковша, отложите это расстояние – и т. д.

По мере путешествия, во время которого жилец однажды был вынужден заглянуть в путеводитель (включив фонарь, сузив рамки Вселенной, неприятно осветив свой острый профиль) Анжела все больше мрачнела и хмурилась, наконец, опустила голову, пробормотав:

– Хватит.

– Но почему?

Она легко сбегала со скалы и, стоя у ее подножия, простерла руки к удивленному силуэту.

– Да потому что это никакой не Лебедь, а Крест, слышите? А это не два разных созвездия, а одно, и называется оно... Впрочем, не важно. Пошли.

– Ты чудо! Ты удивительная девочка! – крикнул жилец со скалы и заволновался к ней навстречу, как бы в порыве, бросил руку ей на плечо, но поцеловать промахнулся, потому что Анжела удачно отклонилась, как боксер от удара.

– Потрудитесь называть меня на вы, – бесцветно сказала она, отвергла руку и хмуро пошла по гравийной дорожке.

– Смотрите! – вдруг крикнул жилец. – Звезда упала.

– Куда, в болото?

– Ах, какая вы несправедливая!

– Давайте помолчим, а? – Анжела обернулась и посмотрела на жильца так, что он тихонько икнул.

(В это время Лешка, который несколько минут назад пришел в гости и недоуменно ждал Анжелу у двери сарая, глядя сверху, как кто-то возится с фонарем подле бассейна, уже шел домой, тихо ругаясь вслух... Анжела прошла тем местом, где он только что стоял, вдруг увидев в темном воздухе узкий стеклистый туннель – след ушедшего человека.)

На подходе к дому она все-таки смягчилась: протянула руку для поцелуя, и жилец страстно приник к ней, щелкнув каблуками. Анжела посветила фонарем на его снежное темя.

– Не сердитесь, примиренчески сказала она, – просто у меня сегодня плохое настроение.

– А! Понимаю... Конечно-конечно. Но поцеловать-то вас хоть можно?

– Что? Зачем целовать?

– Да-да, понимаю... – он вдруг развеселился. – А завтра будет хорошее?

– Что – хорошее?

– Настроение.

– Надеюсь.

– Понимаю, понимаю... – как-то даже пропел или промурлыкал жилец и сгинул.

Анжела вошла к себе (ничего не изменилось – ведро с во-

дой, полное и потому казавшееся пустым, акация в горшке, уже намертво сжавшаяся, лампа...) и тихо сказала, может быть, даже подумала сквозь зубы:

– Дурак.

Лежа навзничь, она играла в спящую статую, для нее не существовало ничего здешнего, только бездна, которая простиралась сразу над крышей, она думала о ней, о ее черноте и беззвучии, о чем-то просила ее. Анжеле вспомнились поднятые к небу глаза и орел в зените, ультрамарин и аквамарин...

Вдруг на дворе остро, ужасно зашумело, она никогда в жизни не слышала подобного звука, он тянулся, слишком быстро расширяясь, на мгновение сравнялся с гулом летящего самолета, но тут же перешагнув эту грань, заполнил собою все суще, превращаясь в странный нарастающий свет – как длительная фантастическая молния, – и разрешился ударом, от которого содрогнулся весь мир. Чашка на столе совершила короткий звенящий прыжок.

Захлопали ставни, все зашевелилось, закудахтало, пролился желтый оконный свет, активные голоса: Что? Что это было? Ты жив? Где бомба?

Клацнула дверца машины...

Анжела вышла. Прямо перед ее дверью, в том месте, где недавно она стояла, было некое изменение почвы, зияла небольшая лунка, от нее шел пар... Сердце забилося, Анжела присела на корточки и дотронулась до того, что лежало

в лунке, вскрикнула, кинулась домой, вернулась с ковшом воды, полила лунку, глядя на исчезающее шипение, потом осторожно взяла чуть теплый кусок метеорного железа, ощутила его невозможно сладкую тяжесть и едва успела затоптать лунку, как кто-то подошел, кажется, почтальонка Лариса – кутаясь в одеяло, зевая в кулак, подозрительно оглядываясь.

– В чем дело?

– Не знаю.

– А что у тебя в руке?

– Так, деревяшка... Ты знаешь, рыба умерла.

– Ну? Принеси-ка фонарь.

– Сейчас.

На протяжении разговора камень в руке раскалялся, стал невыносимым, хотелось закричать, она прыгнула к себе, шепотом застонала, бросила его в ведро, он слабо шипнул в последний раз и со сладким стуком коснулся дна, потом они с Ларисой смотрели рыбу, и Анжела украдкой держала руку в воде...

Ночь все еще волновалась, окна слепли с мучительной медлительностью, тени ходили по двору, внизу развернулась машина, слышался раздраженный голос:

– Должен же он куда-то упасть!

Фоном всего был невыносимо комический храп жильца мансарды, тонкий храп матери и незнакомый третий храп рядом с нею (А, вспомнила, уже был один раз...) и хлопотли-

вость Ларисы с ловлей мертвой рыбы...

Вернувшись домой, Анжела заглянула в ведро. Вода успокоилась. Он лежал на дне и цвет его был чернее черного.

На следующий день была консультация в школе, Анжела старательно срисовывала с доски химические формулы, таинственные бензольные кольца, отрадой взгляда были, конечно, стеллажи с различными веществами в склянках – гладкопурпурный купорос, снежнобирюзовая соль, кубовый натрий.

Разговоры вращались вокруг грядущего выпускного бала, ночного небесного шума, нового фильма с Ришаром... Лешка мрачно подошел после всего, предложил проводить, она не возражала. Сказать друг другу было принципиально нечего. За поворотом, где начинался подъем мимо смелой высокой стены серого камня, он признался (в 111-й раз) – Я вас люблю...

– Я вас тоже, Лешка, – спокойно ответила Анжела.

Он насупился и тупо повторил с той же интонацией, делая невозможно огромное Ю, потом извлек из портфеля микрокалькулятор, пошлепал по кнопкам и выразительно показал табло, где пылали огненные цифры – 112.

Они добрались до белого столбика, где обычно прощались, если Лешка не напрашивался на чашку чая, он помялся и еще более твердо сделал 113-е официальное уведомление. Анжела взяла Лешку за пуговицу и повернула ее, как бы выключая что-то.

– Слушай, – сказала она, – меня, наверно, скоро здесь не будет.

– Я поеду с тобой, – спокойно ответил он.

– Нет, милорд. Я уеду очень далеко. Одна.

– Куда?

– Не знаю, но меня, кажется, вызывают... – она вдруг рассмеялась, глянув сквозь ветки на небо, как бы проверяя, не собирается ли дождь. Кедровая лапка махнула светлозеленой шишкой.

– Впрочем, глупости, Лешка. Целуй.

Она плавно потянула здоровую руку и Лешка чмокнул ее в одну из синих жилок, щелкнув каблуками сандалий.

– Что у тебя с рукой? – спросил он, оглянувшись после нескольких прощальных шагов.

– Звезда упала на ладонь, – честно призналась Анжела и поправила бинт.

– А знаешь, куда тебя надо послать?

– Конечно.

– Ну и оставайся там, поняла?

Анжела повернулась и полезла садом наверх, сделав толстенную обиженную спину. Лешка не окликнул ее.

Вечером произошла отвратительная сцена с жильцом (Безумно люблю тебя!) через день – очередная ссора с матерью (Вон из Массандры!) той же ночью – жуткая оргия: был гитарист, тускло пел романсы, потом мать кричала на весь дом с ним в постели, Анжела затыкала уши, а наутро

она увидела, что мать изменила свое отношение и к ней, и к жильцу, как бы перемножив обоих. Анжелу она весело и страстно приветствовала, а жильца, немного погодя с поклоном сошедшего вниз, проигнорировала утробным бурчанием. Анжела задумалась, но коротко...

Весь следующий день ее как бы не существовало, вечером кто-то долго скребся в дверь, наутро было воскресенье, она сбежала к киоску, купила газету, просмотрела, запоздало сообразив, что не знает фамилии жильца-журналиста. Все ей показалось совершенно серым: рекламы кинотеатров, Пьер Ришар, проблемы сезона, метеостанция Ай-Петри, заметка сотрудника Симеизской обсерватории («Поиски продолжаются») наконец что-то очень веселое, но легко забывшееся, вроде сказки, подписано именем Сверчок. Анжела решила, что это и есть очерк Бориса Николаевича.

Она извлекала из тайника бумажку с телефоном и долго рассматривала большой семизначный номер. Кто он такой, думала она, есть ли у него жена, дети? Большая ли квартира? Из всего разговора она помнила лишь это жуткое слово МИРЕУ. Никогда прежде никто не называл ее на *Вы*, кроме, разве что, Лешки, никто не говорил так смешно и умно. Ведь не Лешка же станет тем человеком, который... В жизни у каждой девушки есть момент, когда надо наконец... Надо, чтобы это не было случайностью, чтобы это было моим собственным поступком, а не какого-нибудь «его» (Она как бы

заполняла страницы воображаемого дневника, ясно видя эту никогда не существовавшую книгу: монотонная коричневая обложка, строгий титульный лист – «Дневник Женщины», вверху наискось ее инициалы – А.М. Жук ползет по странице, будто читая ее тайны. Этой книги никогда не будет на свете...)

Если бы он не был так смешон, жалок... А впрочем, может, именно таким и должен быть первый Он. Интересно, сколько их будет вообще и поддается ли это учету? Сто десять – это много или мало? Сколько их было у матери? Еще говорят, что существует тяга к первому, вот поэтому первый и должен быть каким-нибудь таким – чтоб не тянуло. Да. куча причин... Итак, моя дорогая графиня, ваш выбор сделан. Рыцарь вашего сердца летит к вам на крыльях Эзопа. Так кажется...

(Она лежала немо, недвижно, вспоминая, как много лет назад впервые ощутила себя голой и начала счет своим родинкам: они открывались внезапно, как бы рождаясь – родинка на бедре, крупная, а на левой груди снизу, поменьше, семейное родимое пятно на икре, доставшееся от отца... И самая главная, предмет гордости, Божественная отметина – изумительная, коричневая, чуть ниже левого уха, огромная, величиной с трехкопеечную монету, поросшая золотистым пушком... Внезапно все ушло в сон: повторилось падение звезды, уже беззвучное, в красках, со стороны, как будто чей-то немислимый взгляд отыскивает именно ее дверь,

виллу Елена... Отец прошел и коротко оглянулся, он строил дом, ему было некогда... Нет, никогда... Там далеко она будет совсем другой, новорожденной женщиной, у нее будет много боли, много любви...)

Ровно в полдень в дверь постучались, потом тяжело и грузно вошли, она сдвинула с глаз ладонь – это был Борис Николаевич.

Он сел без приглашения боком к столику, снял соломенную шляпу, сощурился на свою газету и кисло улыбнулся, накрыл газету шляпой и разинул рот, дабы что-то сказать, но так и не сказал и рта не закрыл.

– Знаете, что у меня в руках, – сказала Анжела, садясь на постели, жестом дарующей яблоко протягивая камень, с которым только что спала.

– Ну? – вяло спросил старик.

– Он упал с неба, прямо в наш двор. Я стояла рядом, еще немного, и меня бы разнесло на куски.

– Я вам верю, девушка, – сказал Борис Николаевич и вдруг сорвался на быстрый шепот: – Анжела, я умоляю вас, не делайте этого, я не знаю, как буду вам благодарен, всем святым, небом заклинаю вас, ладно?

– Будьте покойны, мой нежный друг, я этого не сделаю.

– Правда?

– Слово офицера.

– Ну вот и хорошо, вот и договорились, а то я чуть было с ума не сошел.

Большой коричневый жук слепо ткнулся снаружи в стекло и канул вниз.

– А что вы имели в виду? – поинтересовалась Анжела.

Лицо Бориса Николаевича сделалось длинным, отчаянно тупым.

– Вы прекрасно знаете – что.

– Честно говоря, я понятия не имею.

– Вы притворяетесь, и это нехорошо. Негоже так издеваться над старым больным человеком. У меня сердце, почки, печень и многое другое.

– Ну и что? У меня тоже почки, печень, может быть и сердце, – Анжела хлопала себя по торсу, внутри которого, наверно, и вправду были какие-то органы.

– Но Анжелика! То, что вы предлагаете, невысказано, у меня нет такой суммы...

Анжела вдруг напряглась и уставилась на говорящего:

– Продолжайте.

– Я понимаю, что вашей матушке нужно... Но если у меня нет и негде взять, не могу же я только из-за этого...

– Так, – Анжела мазнула указательным пальцем в воздухе, поверх его лица.

– Ведь между нами ничего не было, вы ведь подтвердите, где угодно. Ну, вошел, ну, дотронулся, хотел поцеловать, и то неудачно, хе-хе.

Он нервически рассмеялся.

– Понятно, а я думала... Уф! Вы меня играете, – Анжела

весело посмотрела на жильца. – Сколько она просит?

– Четыре.

– Рубля?

– Боже мой, тысячи!

– Давайте двести.

– У меня только сто свободных и сейчас же съеду.

– Деньги с собой?

Жилец поспешно полез в карман, внезапно став многоруким, на свет появились последовательно: книжечка о природе Крыма, футляр от очков, бумажник... Анжела встала, выпрямилась, нацелив груди прямо жильцу в лицо. Он колебался с невиданной серой бумажкой меж пальцев.

– Руки грязные, – подсказала Анжела, и жилец, поморщась, сунул ей бумажку за лиф. Рот его скривился от отвращения.

– А теперь вон отсюда. Насовсем.

Он поклонился и вышел.

– Это прямо-таки андж какой-то ... – загадочно пробурчал он.

– Что? – удивилась Анжела, застыв в дверях.

– Андж, андж! – бросил жилец через левое плечо, уходя, надеюсь, навсегда.

Анжела легла навзничь и расхохоталась. Немного погодя вошла мать, как некое явление, словно тут разыгрывается какая-то пьеса.

– Анжелочка!

– Да, мамочка!

– Вот и хорошо, хорошо. Ты ведь уже не сердишься?

– Что ты, родная!

– Скажи моя доченька, с тобой ничего недавно не случилось?

– Ты хочешь спросить, не изнасиловал ли он меня?

– Ну да, ну да.

Анжела села на кровати.

– А если я скажу да?

– Ты умница у меня. И не будем ссориться. А этому, – мать прикрикнула на закрытую дверь, – борзость его дорогого встанет... Кобель! – заорала она, подмигнув дочери.

Анжела смотрела на мать с нарастающим любопытством.

– У меня его паспорт в закладе, никуда не денется, хе-хе...

Да, доченька, скажи мне пожалуйста, только не сердись... Ведь будут проводить экспертизу, ты... Ну, в общем, твой Лешка, он...

Анжела рассмеялась матери, что называется, в лицо.

– С этим у меня все в порядке, дорогая, я, знаешь ли, с тринадцати лет... (Мать брезгливо поморщилась) А впрочем, хватит! – Анжела встала. – Аудиенция окончена. Отдай этому господину ксиву и пусть катится (Мать заморгала, казалось, она сейчас заплачет) Я скоро уеду. Ты больше не приставай ко мне с этим, ладно?

– Ах вот как! – зашипела мать, опять переменявшись. – Значит, я тебя поила-кормила, а теперь...

– Допустим, поила ты вовсе не меня...

– Тварь!

Мать замахнулась. Анжела увидела бесконечно медленное движение, сминающиеся в кулак пальцы. Казалось, прошли долгие минуты. Дочь позволила кулачку окончательно созреть, приблизиться, затем отклонила голову, чтобы удар прошел мимо, крепко схватила женщину за воротник, выставила на двор и накинула крючок. После паузы осознания мать заколотила в дверь, заголосила, но встретив молчание (дочь сидела на кровати, скрестив руки на груди и раскачиваясь) ретировалась к себе. Анжела стала собираться.

В цветочном горшке на подоконнике росла крохотная акация, месяц назад вылупившаяся из семечка, присутствующем тут же, у самой земли, в виде двух мясистых семядолей. Миллиметровые перистые листья набрали сочнозеленый блеск, и она, эта грудная девочка, уже стыдливо сжималась на ночь, как взрослая – именно это и удивляло Анжелу, именно в этом Анжела видела некую трагическую прелесть...

На той неделе Анжела обманула ее, заперев ясным солнечным днем в черный чулан. Через час, как миленькая, она покорно сложила листья. Радуюсь, Анжела мгновенно устроила ей новое утро, подарив девочке еще один день жизни.

Анжела не могла вспомнить, как он назвал ее по латыни, это имя связывалось по цвету с ее собственным... Ах да! Гельвеция... О, моя бедная Гельвеция, посаженная мною,

возросшая из семечка за месяц! Ты станешь большим деревом, у тебя будет много детей, ветром их разнесет по всему берегу, а я к тебе приеду, нет, я приду – пешком, по оползням с Караголя, моя Гольдония, неужели никогда? Я буду знать, что ты растешь вдали от меня, и каждый вечер сжимаешь свои ветви, ты, женщина, и цветешь чудесными розовыми метелками, удивительно розово пахнущими, а потом стреляешь по улицам семечками, вышибая прохожим мозги, о, ценнейшая Альбиция моя!

Анжела увидела, как мельчайшие лепестки сомкнулись, словно поймав что-то в воздухе: пьеса, конечно, длилась более получаса, но произошла счастливая остановка времени – листья сжались мгновенно – в три крепких кулачка...

В черной кожаной сумке лишними оказались: цветное содержимое шкатулки (которая, расколотая со второй попытки о край металлической кровати, параболой полетела в угол) алой лентой перевязанная пачка писем (в фирменных крымских конвертах, написанные одной и той же рукой) и камень.

Сумка была тяжела, но выглядела неполной. Одеяло Анжела скатала отдельно в загадочный сверток (яркоголубая лента) колючий козий свитер накинула на плечи, как шаль. Проснувшись утром в бамбуковой постели, она не сразу сообразила, где она и зачем... Анжела села, обняв колени, взглянула исподлобья на веерную пальму, раскрытую в необычайно золотых солнечных лучах, и сказала ей строго:

– Трахикарпус ты. Форчуна.

Ночи были еще не пригодными для вольной жизни, розовый цвет бамбука, вопреки своей природе, становился непереносимо холодным на утреннем солнце, по соседству, на плоской крыше ливанского кедра, жила большая коричневая птица-кукух, Анжела заговаривала с иностранными туристами, высохшими, гладкокожими стариками, мать караулила Анжелу у школы, плакала, трезвая (С кем ты живешь? – С кем попало) Анжела вернулась домой побежденная, глотала лошадиные дозы аскорбинки, улицы шумели уже летним разноцветием, золото медали было матово серым, Лешка танцевал во фраке и белых перчатках, альбиция выкинула еще два крохотных стыдливых листа, наметив крону, Анжела высадила ее чуть выше Трахикарпуса, в последний раз полила водой из ручья, Лешка сделал последнее официальное предложение руки и сердца, нарисовав в воздухе остроконечную крышу будущего дома, с треугольником моря за кормой, с высоченной юккой на горизонте, перед самым отъездом Ялту потрясло страшное событие: под выставочным залом, в зарослях у речки, нашли старичка Будякина с шестью огнестрельными ранениями в паху (Ему и пятидесяти не было, говорила соседка – Значит, за дело, отвечала другая) Анжела оставила матери записку, чтобы она снова не лазила по всему городу, а лучше спокойно сидела дома и пи-

ла с горя, в мансарде сменилось два жильца, некоммуникабельных, Анжела спустилась по Гимназической с заплечным мешком, полупустым, но тяжелым, маятниково отклоняясь на правых поворотах, показала язык милой, гладковыписанной иконе над дверью церкви, на автовокзале плакала девочка-кузнечик с ободранными коленками, прохожие косились на нее, Анжела присела на корточки, не снимая мешка, строго посмотрела, спросила, ткнув пальцем в оранжевый бархатный животик:

– Как зовут?

Бедняжка перестала реветь и тоном глубокой тайны доверила:

– Алиска.

– А меня Анжелка, – сказала Анжела. – Слышишь, какие у нас обеих редкие имена? Мужчины нас очень будут любить за это (Алиска совсем успокоилась, улыбнулась) Ты, видно, потерялась, милая, где ты живешь, куда тебя отвести? (Алиска опять выразила страдание...)

– Москб.

– Что? – изумилась Анжела. – Москва?

– Не Москб, а Москб! – Алиска снова заревела, Анжела вдруг дала себе слово не плакать больше никогда в жизни, по крайней мере, ближайший год (Что за Москб такая, может быть, Мексика? – за десяток лет мучений ни одной четверки по географии, равно как и по другим ненавистным дисциплинам...)

Мимо проходил беспечный милиционер, покачивая плечами, Анжела схватила его за кобуру и сверху вниз энергично указала пальцем:

– Разберитесь! – и уже уходя, спеша, услышала стальное милицейское: что? Морская? – Ах, ну конечно! Морская, милая желтая улица в центре, почти золотая, да и говорила Алиска совсем по-ялтински, какая может быть Москва?

Анжела вскочила в троллейбус, двери сразу закрылись, машина сразу поехала, повернула и набрала высоту, Ялта была далеко внизу, взгляд, кинематографически падая на зеленый мохнатый бок Дарсана, отметил белый квадратик виллы Елена, ее щелистого сарая, за новым виражом Ялта ушла в дымку, словно долину Дерикойки заполнила морская вода, конец света, за третьим – Ялта исчезла навсегда: кивнула Козел-гора, спиной развернулась Медведь-гора, привстали Лешка-гора, Анжелка-гора, меж ними выгнул китовую спину перевал, высота 752 метра, но это неправда, катимся все быстрее, воздух все мрачнее, жестче, садимся в самолет, опять взлетаем, летим, машина закладывает вираж, закладывает уши...

Внизу страдания множества ослепительных цветов, мгновенные радуги, стеклистые червячки, в колодцах между туч мерцают цепями улиц города, мерцают реки, небо металлически спокойно...

Здравствуй, дорогой мой брат, – написала Анжела, – прости, что лечу не к тебе.

Так же, как некогда ты, я навсегда покидаю наш дом... Нет, слишком слезно – вымарать. Я не хочу больше жить у этой твари... Грубо – туда же. Милый мой как тяжело бросать все такое привычное такое затасканное затертое до дыр конечно бросать потому что есть на свете множество других не менее чудесных городов (вымарать!)

Ее письма всегда были трудночитаемыми, словно черновики великих писателей, она никак не могла выдержать тон, а ей именно и хотелось держать ровный тон, хотя бы на одном листе)

Брат мой, короче, я еду, надоело все к черту, девки достали, Ялта опостылела, жара, скука, мамочка, родная моя мамочка, прощай!

6

Зима была снежной, тяжелой, яркое солнце, искристые брызги его казались какой-то шуткой в двадцатиградусный мороз, таяние должно было неминуемо привести к всемирному потопу, птицы как ни странно существовали, плоскость улиц, почти чертежная, не располагала к прогулкам, вечерами возвышалась над горизонтом стройная гряда облаков, город с высоты не поддавался пониманию: иногда где-нибудь вырастала неожиданная башня, снег, пролетая мимо окна, еще несколько минут падал до земли, глаз издали различал в толпе зеленый цвет, Анжела не расставалась с зеленым свитером, словно это был подарок друга в разлуке, и тоска ее тоже была весьма зеленой...

На зимние каникулы общага опустела, погремев день и ночь; Анжела днями сидела в кресле, протягивая ноги к обогревателю, который розово и монотонно горел, изредка вспыхивая пойманными пылинками, претендуя на роль домашнего животного; Анжела рисовала в альбом из головы, читала или писала письмо, как-то под вечер в дверь корректно и нежно постучали три раза, она отозвалась, вошел высокий темноволосый человек, он показался ей странно знакомым, после предисловия спросил, обращаясь на вы, причем, с большой буквы, не видела ли она Мэлора?

– Посмотри у Марино, – сказала Анжела (она наконец его

узнала: это был пятикурсник, недавно она заметила его, выделила из череды незнакомых лиц – он сидел на подоконнике в таинственной зоне старшекурсных лабораторий, ел сникерс, болтал ногами...)

Через несколько минут он вернулся и сказал, что Марино вообще не знает никакого Мэлора.

– Я тоже, – сказала Анжела.

– Почему же вы посылаете меня к ней?

– Потому что она с Кавказа и знает здесь всех грузин.

Он странно посмотрел на Анжелу, затем спросил разрешения оставить у нее свою сумку и отправился на поиски. В двадцатипятиэтажном доме, именуемым «Солнышкой», обитало две тысячи человек. Через полчаса гость вернулся (его отчетливый тройственный стук был неотделим от его внешности) объявив, что Мэлора нигде нет, наверно, уехал, хотя странно, они договорились, к ней он зашел, потому что слышал за дверью ее кашель, так долго ехал, больше часа от дома, как быть с вином?

– Между прочим, он никакой не грузин, просто такое имя...

Анжела мельком глянула на этикетку и сказала, что не пьет сухого. Гость проворно заменил бутылку, на столе появился марочный портвейн, темное массандровское вино.

После первого полстакана разговор пошел. Его звали Андрюша, видимо, он очень любил этого самого Мэлора, души в нем не чаял, вот, например, в прошлом стройотряде

они с Мэлором... Анжела поняла, что Андрюша не может соскочить с этой темы и помогла ему. Второй полстакан был уже вполне пьянящим, собеседник не был Анжеле неприятен, они хорошо и без пауз говорили, даже беседовали: от смешных случаев из жизни (впрочем, ни разу не сорвавшись на анекдоты) до сложностей учебного процесса на втором и последующих курсах... Бутылка почему-то очень быстро опустела, внезапно Анжеле захотелось Андрюшу накормить.

Вернувшись из кухни, она увидела, что он внимательно изучает содержание ее угла: книги, картинки, взял в руки и осмотрел метеорный камень, двумя пальцами проверил подлинность черной шелковой ленты.

После ужина они сидели рядом на кровати, смотрели альбом Ван-Гога, который был извлечен из той же бездонной коричневой сумки. Анжела визжала от радости. Гость невзначай обнял ее за плечо, Анжела посмотрела на его обнимающую руку и снова вернулась в долину Ля-Кро.

(За восемь месяцев московской жизни к ней несколько раз пьяно приставали, трезво дели предложения, устно, без обиняков (кто они такие, эти обиняки?) в новогоднюю ночь профгруппорг решительно пытался ее изнасиловать, но получил по темени темнокрасной вазой толстого стекла, лежал в больнице, Анжела его навещала...)

Андрюша брал нежные аккорды на ее плече, Анжела спокойно ждала следующего шага. Месяц назад она поклялась себе: тот, кто ее поцелует, и будет ее мужем, сейчас эта идея

показалась ей странной... Он перевернул страницу, Анжела в очередной раз взвизгнула, что уже стало у них некой игрой, он накрыл растопыренной ладонью желтое пшеничное поле и долго поцеловал ее в губы. Вдруг она обнаружила, что крепко сжимает его руку, над тем же солнечным пшеничным полем.

Поцелуй не был таким приятным, как ожидалось, но странное ощущение входящего в рот чужого языка хотелось задержать как можно дольше, и Анжела поняла: она будет делать это часто, особенно теперь, когда первая преграда (некая предварительная невинность, такой в принципе пу-стак) сломлена.

Поцелуй имел вкус – черная Изабелла, поближе к сердцевине, к косточке. Поцелуй имел запах – не очень приятный, но желанный своей новизной. Поцелуй был длиннее всех разумных понятий о времени – оказывается, вообще можно было никогда не разъединять губ...

Количество их рук изрядно возросло, пшеничное поле глянцево скользнуло на пол, тонкие пальцы немислимо касались самых тайных ее мест и, не задерживаясь, неслись дальше (хотя куда – дальше?) будто надеясь ощупать каждый квадратный сантиметр кожи. Она заметила, что и ее руки делают то же самое... Вдруг что-то нарушилось, некое равновесие обрело новый центр, и все стало медленно клониться навзничь. Ее покрыло большое дрожащее тело, поцелуй исчез, перейдя в дыхание. Подняв глаза, она увидела над со-

бою не сразу вставшие на место черты чужого лица.

– Ты великолепна, Анжелика, кто научил тебя так целовать? – ласково сказали губы. Им не следовало этого говорить.

Анжела почувствовала, как все кончилось, будто вторая девушка вышла из нее прежней, двойной. Она высвободилась и встала. Андрюша сел на кровати, движением изобразив ваньку-встаньку. Анжела подошла к двери, настежь распахнула ее – молча. Андрюша сунул свой альбом в сумку и вышел не глядя, в дверях зачем-то хлопнул Анжелу по руке, той, что держала дверную скобу.

– Эта реальность никуда не годится, – загадочно произнес он. – Все это надо переписать...

Анжеле стало стыдно, она смотрела на его уходящую спину и чуть было не позвала его. Нет, она не позвала его...

Несколько оставшихся безмятежных дней Анжела провела в кресле, как и несколько предыдущих.

Каникулы закончились и общага была снова заселена. День приезда отмечился несчастьем: второкурсник выпал из окна и сломал себе пятки...

В институтском коридоре третьего этажа, напротив деканата, Анжела увидела обновленную доску почета, вернее, одно лицо, чернобелое его воспроизведение, оно выделялось среди прочих угрюмоторжественных лиц хотя бы тем, что владело легкой улыбкой. Гладкопричесанный чуб поймал блик фотографической лампы, подробно запечатлел лампо-

вый силуэт, казавшийся электрически желтым, несмотря на двойную сущность бромистого серебра.

Этого человека Анжела выделила еще в сентябре, он ходил по коридорам всегда не один – с друзьями или с какой-нибудь лялькой. Анжела видела его примерно раз в неделю, два раза встречала в холле общежития, последнее время стало вполне ясно, что и он заметил ее – при встречах их взгляды соединялись. Анжела обрадовалась фотографии – теперь она сможет видеть это лицо, когда захочет... В конце дня ей встретился Андрюша, он сдержанно и серьезно приветствовал ее.

– Кто такой Мэлор? – спросила она у Мыши, соседке по комнате, когда та приехала, опоздав на день, из своего Харькова.

Мышь вскинула глаза. Мэлор оказался другом Стаканского.

– Кто такой Стаканский? – терпеливо спросила Анжела.

– Хо! – удивилась Мышь. – Все Солнышко знает, что на той неделе ты выставила его за дверь. Глупенькая, скажу я тебе...

Мышь, курсом и годом старше Анжелы, мягко отчитала ее за незнание элементарных в институтской программе вещей. Мэлор и Стаканский были двое едва ли не самых известных в МИРЕУ, причем, первый славился светлой головой, победами на олимпиадах и т. п., а второй – разгильдяйством. Почему-то они дружили...

– Кто такой Мэлор? – спросила Анжела у Лизы, с которой сидела вместе на лекциях и, можно сказать, дружила.

– Бабник, – строго сказала Лиза. – Неужели он к тебе не приставал?

– Нет еще, – сказала Анжела, досадуя на собственное «еще». Больше она никому не задавала вопросов...

Раз утром, в первое воскресенье семестра, Анжела наблюдала с высоты футбольный матч: один игрок в яркокрасном трико был ловчее других, он летал в снежном вихре, неотделимый от столь же красной точки мяча, казалось, на него играет не только своя, но и вражеская команда.

– Мэлор, – иногда, если никого не было рядом, тихо проносила Анжела, радуясь заморскому звучанию имени, его произвольно управляемой длительности:

– Мэ-лтр-р...

Случайно, из проходящего по коридору чужого разговора, она узнала, что Мэлор бывает у Леры, ее сокурсницы, и стала чаще заходить к ней, взялась консультировать Леру по начертательной геометрии. События развивались по какому-то желанному сценарию: уже в ближайшую субботу у Леры были гости, дым стоял столбом, таинственно горели свечи, человек, сидевший в самом темном углу, бархатным голосом представился: *Мэлтр...*

Вскоре он удалился, Анжела так и не успела разглядеть его лица, оно было темным выразительным пятном, еще оставались сомнения, но на другой день Анжела курила одна

в коридоре, увидела в конце коридора того, с фотографии, он шел, весело глядя на нее издали, шел именно к ней, приблизился и бархатным голосом вчерашнего Мэлора заговорил.

Мэлор Плетнев был человеком удачи. Предметы мира любили его: манекенно льнули к его торсу серый галстук, серые жилет и пиджак; темно рыжий портфель искусственного крокодила был весел в его бледных сильных руках, несколько уменьшаясь в размерах, когда хозяин бодро хватал его за подставленную ручку.

Мэлор был у всех на виду, как бы обладая таинственным свойством существовать одновременно в нескольких местах, его зычное имя, попадая в чьи-нибудь уста, звучало в них долго, значительно. Все, за что бы ни брался Мэлор, великолепно ему удавалось – будь то экстренный выпуск стенгазеты со смелыми, удивительными сочетаниями разноцветных гуашевых букв, или спортивная игра, скажем, футбол, где, казалось, на всем поле играет один Мэлор, ловко обводя противников, поднимая радужные снежные вихри, точно, в левый верхний угол вбивая с чьей-то услужливой подачи алый мяч... Никто не сомневался в том, что Мэлор пишет стихи, играет на фортепиано, владеет каратэ, то есть, даже если и нет, то вполне способен всему научиться.

Мэлора любили девушки и женщины, да, чаще именно женщины, девушки семидесятых; они оставляли свои паспорта на вахте Солнышки и поднимались к нему с подарками, старухи-дежурные глядели им вслед, потом показыва-

ли друг дружке страничку девять – «семейное положение», улыбались. Институтские ляльки кружились вокруг Мэлора наподобие ночных бабочек, он брал их нехотя, редко сам ходил к ним, но, по обыкновению, принимал в своей комнате на семнадцатом этаже – с видом на серую Останкинскую башню, с запахом мужского дезодоранта «Мустанг», с бледным пятном на потолке, отдаленно напоминавшим индюка, с красивыми заграничными картинками на стенах, с тихой темносиней музыкой...

Четыре года назад Мэлор шутя поступил в МИРЕУ, точно угадав проходной балл, не перебирая лишних очков. На первом же собрании группы его выбрали комсоргом. Первую сессию он сдал с одной случайной четверкой, которая до сих пор оставалась единственным темным пятном его биографии. Теперь, на пятом курсе, Мэлор был законным и бесменным комсомольским боссом, жизнь прочила ему блестящее будущее...

Вот все самое лучшее, самое главное, что Анжеле удалось о Мэлоре узнать и в Мэлоре увидеть.

Прошла неделя с тех пор, как тройственный образ соединился в один. Анжела не торопилась. Приглашение зайти между прочим, она, разумеется, игнорировала...

Лера Лемурова, как это часто случается с жертвами, выбрала Анжелу в свои наперсницы. Анжела приходила в комнату 24–31 каждый вечер, девочки гадали друг другу на картах, на кофейной гуще, довольно скоро исчерпав статичную

хиромантию, жгли толстые желтые свечи и говорили о Мэ-лоре.

Мэлор не приходил. Вечер встречи был, очевидно, последним для Леры. Она не то чтобы вздрагивала при каждом стуке, но уже монотонно смотрела на дверь через плечо подружки, Анжела надеялась, что этот упорный зеленый взгляд все-таки рано или поздно сотворит естественный астральный призыв.

Соседка Леры, таинственная Татьяна, снимала где-то комнату, в Солнышке почти не появлялась, ее вещи и книги были безликими, кровать использовалась как склад одежды и чертежей, Анжела была уверена, что одна в комнате, Лера долго не останется без какого-нибудь друга.

Мэлор также жил один, но совершенно законно – как член институтского бюро. Прийти к нему Лера считала немислимым, исход поединка был заранее ясен даже ей самой, но надежда все-таки оставалась: было бы несправедливо, если острый зеленый взгляд уходил в заснеженное пространство вотще...

Лера была ланью, ее нормальным выражением считалась укоризна. Лера была загадкой в жизни Мэлора и очевидной случайностью.

Седьмого марта в танцзале была дискотека, Лера, прежде не танцевавшая, встретила Анжелу разодетая, раскрашенная.

– Хороша? – киношно закружилась она по комнате, пока-

зав ноги под шатром взлетевшей юбки, и куриная их белизна возбуждала жалость.

В лифте они молчали, неловко поймали глаза друг друга и одновременно кашлянули, а там, в энергичных порывах света, в глубокой бархатной тьме – разделились. Лера металась лялькой по всему залу, громко хохотала, не глядя по сторонам. Ее игра была понятна: она не хотела знать наверняка, что Мэлора в зале нет. Анжела представляла ее мысли в виде световых образов: Лера танцует – мультипликационная, неотразимая – Мэлор входит, светлый в дверном проеме, он видит ее, понимает... Анжела плясала в знакомом кругу, легко вскидывая длинные ноги, весело встречая чужие глаза. Мэлора действительно не было.

Этот вечер был объявлен маскарадным (мелким шрифтом внизу объявление) но никто из присутствующих не надел костюма, и только Анжела была в маске, делающей ее неузнаваемой. У этого лица были круглые дырчатые глаза, щербатый хохочущий рот... В сущности, это была не маска, а белая тыква, выдолбленная и высушенная на солнце, с прорезями для рта, носа, глаз и ушей («Ух» – как говорили в Ялте) такая тыква, которой ялтинцы пугают курортников, выпаривая ночью из черных кустов тамариска.

Вскоре Леру зацепил развязный молодой человек, усатый и длинноволосый, из породы Стаканских. Лера кокетничала, запрокидывая смеющуюся голову, бедный кавалер двигался в радостном ожидании, выделявая ногами волновые моду-

ляции в общем слаженном танце (Лера, истекая медленным серебряным светом, плавно танцует с другим, входит Мэлор, от него к Лере тянется вопрошающий синий луч...)

Анжела танцевала с невысоким, темносиним, из-за его плеча она осматривала зал, читала лица. Вошел Мэлор, остановился в дверях, поискал глазами кого-то. Лера в медленном вальсе явно предъясвляла своего пританцовывающего кавалера. Мэлор повернулся и ушел, кажется, не заметив ее. Лера бросила руки и пошла через зал, кавалер двинулся за нею, стыдливо пожимая плечами.

Музыка стихла, Анжела взяла их обоих за плечи и потащила наверх: Здесь жарко. Анжелин коротышка попытался проследовать за ними, но она строго шепнула ему сквозь ползущие двери лифта: Сгинь!

Втроем они пили чай и слушали музыку.

– А я с Макаревичем знаком, – сказал кавалер.

Лера была воплощением ненависти. Досчитаю до десяти и оставлю их, подумала Анжела. На седьмом раздался стук в дверь, по глазам Леры стало видно, чей. Мэлор вошел бодро, на ходу снимая свой серый пиджак и вешая его на спинку стула. Анжела встала:

– Мне пора.

– Сиди! – зашипела Лера, и Анжела сжалась над ней.

Вчетвером опять пили чай, мужчины неторопливо развлекали дам, Анжела спокойно разглядывала Мэлора, все больше убеждаясь, как он красив и изящен: чего стоило плавное

подводное движение длинной руки за кусочком сахара, свободная непринужденная поза корпуса на стуле... Анжела наконец встала и, поклонившись, вышла.

– Мне тоже, – сказал Мэлор и в коридоре догнал ее.

– Почему не зайдешь?

– Некогда как-то.

– А кто этот тип?

– Леркин любовник.

До лифта уже дошли, ему вниз, ей вверх, что скажете?

– Есть немного вина, – сказал Мэлор, – Спустимся?

– Нет. У меня и так башка трещит от этой дурацкой тыквы.

Мэлор пожал плечами и они расстались. Никогда прежде Анжеле так не хотелось выпить немного холодного белого вина.

Внезапно, как бы предчувствуя свое близкое преобразование, Анжела увидела будущее, будто заглянула в какую-то книгу о себе, но это был иной вариант, еще более глупый, и она вспомнила недавние слова этого неудачного Стаканского о том, что реальность никуда не годится и надо бы ее переписать...

(Основным содержанием ее души в те далекие дни была нежность – неосознанная, бледнорозовая, цвета незрелого арбуза нежность, однажды, еще давно, еще в домашней, она разрезала бутон розы и увидела именно ее – ей показалось, как поцелуем потянулись из цветка бледные естественные

губы... У Анжелы на все был цвет, преимущественно иска-
женный, но нежность ее случилась действительно алой...)

Это началось на следующий день. Всю ночь ей казалось, что где-то жужжит издыхающая муха. Анжела вставала, пытаясь по слуху найти насекомое, но звук, доселе живший в комнате, пройдя сквозь стену, оказывался на улице, и вдруг Анжела поняла, что это лает собака, здесь немыслимая... Анжела стонала, прижавшись лбом к стеклу, чувствуя его холод, потом вдруг увидела себя спящей, тут же проснулась, шагнула к окну и т. д. – все это повторялось несколько раз за ночь, причем, Мышь иногда исчезала из своей постели, вероятно, выходила, или же просто жила не во всех фазах сна: утром в таящей темноте Анжела увидела ее окончательно: девушка лежала навзничь, одеяло сползло до пупка, рубашка до того же места задралась. Мышь светилась.

Анжела протерла глаза и посмотрела на Мышь протертыми. Ее тело было опушено бледноголубым сиянием, будто поросло плесенью, под одеялом были видны ее лунные ноги. Анжела нашарила на столе стакан и выплеснула в рот остатки чая; общага в этот час еще спала, Анжела сидела за столом, подперев голову рукою, спиной к светящейся деве. Убедившись, что прошло довольно много времени (хотя в настоящем сне проверки бы не потребовалось) Анжела оглянулась. Мышь сторала бледным светом луны. Анжела подошла к ней, толкнула в плечо, светящаяся дева мгновенно просну-

лась, мгновенно погаснув.

В лифте Анжела случайно оказалась с Мэлором – его голова была окружена легким серебряным нимбом. В зеркале она увидела свою корону, также серебряную, и охнула. Мэлор поддержал ее под локоть. Его пальцы отчетливо дрожали.

По улице она шла не подымая глаз, почти не слушая Мэлора, в аудитории на лекции она чуть не закричала, когда сощурившись подняла глаза к доске. Некоторые головы светились, их ауры (Анжела вспомнила это слово) слегка заострились кверху, что делало их похожими на разноцветные новогодние свечи.

Со второй пары Анжела ушла и, осторожно двигаясь по улицам, во все глаза смотрела на людей. Светились все до единого, многие выпускали длинные столбы пламени, которые двигались вместе с людьми, легко, как лучи фонарика в тумане. Иногда тела выбрасывали мерцающие огненные шары, стрелы, собственные огненные повторения, и те отлетали, размахивая руками, превращаясь в чистое пламя.

Анжела прибежала домой, кинулась на кровать, свернулась калачиком и закусила кулак.

Днем влетела синим пламенем полыхающая Мышь, бросилась на Анжелу, потрясая ее будительными движениями. Оказалось, что Мэлор (Твой Мэлор... – Почему мой?) свалился у доски, потерял сознание, увезся скорой помощью.

Впрочем, через несколько часов Мэлор зашел, все трое

пили кофе, Мышь попискивала, Анжела с интересом наблюдала за ними обоими.

Голова Мэлора была окружена большой, вполне подстать окладу иконы серебряной аурой, в которую удивительно вписывались острые синие лучи. Мышь стала желтой, выдавая сетку вечернего солнца.

Мэлор волновался, его руки бегали по столу, как два отдельных подвижных паука, делая вид, что барабанят какую-то мелодию, впрочем, невозможную. Анжела с улыбкой сжигала извивающиеся спички, до предела сгоравшие меж пальцев, Мэлор провожал глазами огонь, улыбаясь странно, после его ухода спичечный коробок куда-то пропал, Мышь пошутила, что это Мэлор стащил его... Ночью снились объятые пламенем люди, живым, настоящим, они бегали, корчась от боли, вертикально валил жирный дым из голов.

Наутро люди источали нормальный ровный свет. Несколько дней Анжела училась своему новому состоянию. Выйти на улицу было страшно, почти невозможно, общежитский врач придирчиво осмотрел ее, Анжела испугалась, что он может выкупить ее, пользуясь специальными приборами, ей нехотя выдали справку на три дня – девушка была совершенно здорова.

Анжела наблюдала за Мышью, за Мэлором, который приходил, дрожа, еще дважды, за другими людьми... Мышь медленно угасала, очевидно, теряя силы, она бледнела, иногда совсем исчезая в темноте, вспышки становились все реже,

потом успокоился примерно двухчасовой период ее появления. Как-то раз, войдя в комнату Леры, Анжела увидела ее лежащей в полной темноте, полностью черной, свернувшейся. На полу было намусорено. Мэлор был по-прежнему светел.

Утром по общаге пронесся страшный вопль: Лера Лемурова умерла, покончила с собой, наглотавшись снотворного. Тело девушки увезли. На полу, на столе, на кровати, валялись пустые лекарственные обертки. Комната была свободна для обозрения, многие заходили туда. Анжеле показалось, будто в углу на своем обычном месте быстро мелькнула голая бледнокожая Лера...

К вечеру выяснилось, что девушка вполне жива: более того, прошел слух, что она выпила всего лишь две-три таблетки радедорма, чтобы уснуть, а остальные транки распотрошила в унитаз, демонстративно разбросав упаковки.

Примчалась ее соседка Татьяна и яростно ругала Леру, поскольку вещества были ее. На вопрос Мыши, зачем ей было надо столько веществ, она вообще пришла в бешенство и перекинулась непосредственно на Мышь. Обе пылали двумя разными, но интонационно сходными цветами. Анжела поняла, что с Лерой не совсем так, как думают, ведь когда она видела Леру в последний раз, та действительно была мертвой.

Вечером Лера вернулась из больницы, Анжела зашла к ней.

– Оплевана, опозорена! – говорила Лера. – Но я же взаправду хотела умереть, взаправду приняла все таблетки. Может, они были старые? – спросила она, жалобно глядя на подругу.

– Нет, – Анжела немного подумала. – Просто ты еще не была готова к смерти, и организм не принял яда.

Она сощурилась на Лерин живот, сделав это незаметно, в то время как Лера по своей нервной привычке проворно терла указательным пальцем по столу. Множество голубых, желтых и белых таблеток лежали в желудке Леры нерастворившимися.

– Я потому сказала так врачам, чтобы не делали это промывание... А девчонки слышали. Так противно: засовывают в тебя резиновую трубу и продувают, как лягушку! Вспомнить тошно.

Разговор был у них чисто технический, без психологии, мотивы Анжелу не интересовали – она их видела. Заметны были также отложения каких-то солей в предстательной железе, странное отвердение печени, словно ее хозяйка была матерой алкоголичкой.

– Не уходи, – попросила Лера, когда Анжела наконец прицельно посмотрела на дверь. – Выпьешь немного со мной?

Лера достала флакончик технического спирта, припасенный для притираний, заперла дверь на ключ и прикрутила лампу. Через некоторое время она рыдала, расплескав свои волосы у Анжелы на коленях, Анжела гладила ее, как гладят

животное, длинно, по голове и спине.

– Я изменю ему с первым встречным, – сказала Лера. Я изменю ему с самым грязным, вонючим стариком.

Анжела почувствовала скверную, унижающую жалость, она развела руками над головой плакальщицы и щелкнула языком в пространство, как бы невидимому зрителю. В этот момент Лера сдвинула край ее платья и поцеловала ее бедро. Анжела легонько стукнула девушку по затылку, Лера подняла умоляющее лицо.

– Я прошу тебя, – прошептала она. – Маленечко...

Анжела знала, что за Лерой водится этот грешок.

– А почему бы и нет? – подумала она и чуть приподнялась, позволив стянуть с себя трусики. Глядя, как между колен, до прозрачности натягивая материю платья, катается небольшой твердый шар (будто бы у нее только что родился ребенок) Анжела наконец дала волю собственным слезам. В этот момент Лера навсегда ушла из ее жизни, тем более, что она выполнила свою эпизодическую роль связной.

Наутро Анжела отважилась пойти в институт: люди горели ровно, не было такого феерического цветения, такого ядерного полыхания тел, как в первые дни. Опасение, что дар внезапно пропадет, исчезло: свет был ровный и продолжительный, ей уже трудно было представить жизнь до преобразования, в мире лишь внешних красок...

Раз вечером, придя домой, Анжела бросилась, не раздеваясь, на кровать и долго, восхищенно, взасос целовала небес-

ный камень.

Как-то ночью Мыши долго не было дома, Анжела испытывала странное беспокойство, легкие боли внизу живота, внезапно все кончилось – как отпустило... Вернулась Мышь, сияющая, грязная, чуть пьяная.

– Представить не можешь, где я была, – блаженно сказала она, вытягиваясь под одеялом.

Анжела не стала спрашивать, она увидела внутри Мыши, в паху от губ до матки – серебристый треугольник. Анжела лежала, приподнявшись на локтях, и пристально изучала девушку. Анжела представила, как Мышь стучится в дверь Мэлора, и Мэлор, ласково светясь, встречает ее, потому что она званна. Мышь разбегается и прыгает к нему на колени, маленькая, уютная, кротко свернувшаяся в клубок мышь. Анжела не знала, как это происходит, но хорошо представляла себе, уяснив основной принцип.

Мэлор заводит руку ей под платье и чувствительно касается самого горячего места девушки. Она полыхает чисто алым, струя темносинего света проходит сквозь ее тело, от одной его ладони до другой. Она выгибает спину, кокетливо открывает рот, округляет губы. Мэлор розовеет, одновременно внизу живота появляется желтое, разливается, в брюшной полости подпирает легкие. Двое торопливо ласкают друг друга, раздевают, опускаются на ковер, на велико-

лепный зеленый ковер, синтетический, с колючей спиной... Желтое разлилось уже и в ней, два цвета отождествлены, при каждом движении они перекачивают это друг в друга, туда и обратно, словно живую подвижную жидкость. Взрыв – оба огненножелтые, озаряют комнату, замерли в дрожащем желании остановить момент. Потом опять тьма, ритмическое мерцание, мелко кивает с потолка тактичный индюк... И теперь в ней живет этот серебряный остывающий треугольник, вернее даже конус, медленно вращающийся конус.

В институте это встретилось еще у двух девушек – бледный, почти исчезнувший конус Мэлора. Анжела внимательно всматривалась в них, погрызывая ноготь большого пальца. Все трое были разные, совсем не подходящие под понятие какого-то определенного женского типа, по которому можно было установить вкус автора.

Через день на улице Анжела увидела незнакомую девушку с ярким, быстро вращающимся конусом Мэлора. Она шла плавно, чуть больше чем надо покачивая бедрами. Складка ее темнокрасного плаща шельмовала туда-сюда.

Анжела обогнала ее, затем стала у дерева, спереди глядя на идущую. У нее были светлые длинные волосы, во рту остро блеснул серебряный зубок, она запрокинула голову, приветливо улыбнулась и потрясла волосами, рукой сжав их у основания в пучок.

Анжела подумала, что сейчас происходит очень важное событие, роковое. Она могла окликнуть девушку, сказать:

ведь мы встречались, кажется, у Мэлора? – это и был бы момент выбора... Анжела выбрала молчание, вечером Мышь уговорила ее погадать, Анжела разложила на себя, делая вид, что гадает подруге: трефовая дама, встреча с которой состоится, займет в ее жизни важное место, с ней связаны приятные хлопоты в казенном доме, венец... Трефовая дама ушла вверх по Ленинградскому проспекту, оглянувшись на Анжелу, потрясая пучком волос, прежде чем исчезнуть навсегда. А было бы вот что: это знакомство, если бы оно состоялось, вернуло через Анжелу брошенную трефовую даму Мэлору, впрочем, ненадолго, ровно настолько, чтобы Анжела (в частном доме) сошлась с трефовым королем, родным братом дамы, который вскоре и повел бы ее под венец, то есть, в ЗАГС, – все это другая жизнь, Анжеле уже недоступная... Мышь беспокойно осматривала Анжелу: не она ли трефовая? В середину третьего круга гадания вошел Мэлор. Анжела видела, к кому...

Мышь пыталась ее немо выгнать, посылая языки фиолетового пламени в ее сторону, Мышьи мысли предлагали такую мультипликацию: Анжела торопливо берет сумочку и отправляется в кино, на лучший из лучших сеансов, Мышь запирает дверь и бросается Мэлору на руки, тот ее целует на весу и бережно опускает в кровать, почему-то в Анжелину кровать... В то же время ясное доброе истечение исходило от Мэлора, и она видела, что он думает иначе: вот Мышь выходит в уборную, Мэлор наклоняется к Анжеле и шепочет...

том просит зайти, официально прощается, движется по зданию светящейся палочкой, замирает в кубике своей комнаты наверху, Анжела, выждав, небрежно выходит, взяв для отвода глаз сумочку, немо стоит в лифте, прижав сумочку к груди, стучится в его дверь... Дальше представление обрывалось (что Анжелу особенно радовало) и шло с начала, с вариантами.

Все трое были сильно напряжены: конус Мэлора внутри Мыши горел ярко, он космато вращался, уже начиная пульсировать, Мэлор был похож на чудного среброволосого дикобраза, собственные пальцы Анжелы посылали в пространство белые лучи, такие длинные и тонкие, что ими можно было ощупывать комнату. Сознание Мыши зациклилось на картине ухода Анжелы (все торопливее хватает свою жалкую желтенькую сумочку) Анжела не двигалась с места, Мышь, инстинктивно все почуяв, угрюмо сидела, хотя было заметно настойчивое требование ее мочевого пузыря... Вдруг Мэлор испустил несколько радужных оболочек внезапной идеи... *На дискотеку, немедленно!*

И обе стали собираться, краситься, зло поглядывая друг на друга и опасливо – на смирную спину Мэлора. Вихрем слетели вниз, там, в бледных ламповых лучах, метались огненные люди, они разбрызгивали горячие всплески, клочья пламени, смерчи и протуберанцы, Анжела бросилась в круг и мигом запылала серебром: это был настоящий праздник серебра, оно заполняло промежутки меж пляшущими фигу-

рами, и фигуры двигались на чистом серебряном поле и поглощались им, и ничего больше не оставалось, кроме этого ровного, жутко слепящего серебра...

Однажды Анжела оказалась в танце Мэлора, они сблизились, тепло протекло; ни слова друг другу не говоря они вышли в коридор, Мэлор вызвал лифт, в кабине остро пахло лавандой, в комнате Мэлора – сырая ночь, Останкинская башня, озаренная разноцветными огнями, старческая голова внимательного индюка на потолке...

Анжела стала посередине, Мэлор сел на край кровати. Сквозь стены и мебель снизу поднималось настагающее серебро, она весело и снисходительно посмотрела на Мэлора, прямо в его берилловые глаза, и рванула через голову свитер, так что электрические искры полетели в разные стороны, скомкала, бросила в угол (не разбился) и, расправив плечи, шагнула на ступеньку вниз, в чистый поток серебра, и Мэлор принял ее, дрожащую, в свои руки, и наутро ее уже не было с ним.

– Разминируй меня... – прошептал он сквозь сон, без толку ощупывая влажную постель. Ему снилась война, полевая форма, какие-то саперы... Он открыл глаза, сбросив с век их микроскопические фигурки, нагнулся, подвинул баночку, пописал.

Пахло тем, что делалось здесь всю ночь. Сползая с кровати, Мэлор подошел к белому, лежавшему под столом: это был носовой платок, он бережно взял его и вывел за окно. В

грудь дохнуло свежим весенним утром, талым снегом, облаком, смогом, сладостью гниения, каплями... Мэлор свесился из окна, посмотрел, не лежит ли Анжела внизу, и окончательно проснулся. Девушки действительно не было.

В подобные моменты жизни Мэлор обычно испытывал короткое, ничем не мотивированное счастье.

Завтракая, Мэлор (или Мэл, как несколько по-американски звали его с детства) вспоминал подробности, и настроение его падало. Он видел сваренную руку, которую в обиходе Анжела искусно прятала, но спящая, хорошо показала нежные пятна новой кожи на ладони и подушечках пальцев... Девушка безбожно врала, утверждая, что ожог этот был получен вследствие падения метеорита, в доказательство она предьявляла какой-то кусок угля, хрупкий на ощупь, пахнувший несвежей нефтью... Все это, в сочетании с особой, сладковатогнилой вонью ее гениталий, мешало Мэлу вполне насладиться ясным весенним утром, портило аппетит... Впрочем, вскоре, сразу же за порогом Солнышка, ему стало не до Анжелы.

Когда Мэл бодро, на длинных пружинистых ногах, словно юный Пушкин, на лету прикуривая (как бы играя на воображаемой дудочке) сбегал по ступенькам, он отметил, что тоже (по контрасту) стоит прикуривающий человек, но согнувшись, по птичьи расставив локти. Мэл с ходу посмотрел на него, будто сделав мгновенную фотографию со спины. Затем, пройдя несколько шагов, Мэл оглянулся, чтобы убедиться, кончил ли прикуривать прикуривающий человек, заодно посмотреть, как будет выходить та девушка, что ехала с ним в лифте. Лифт был битком, как всегда, и Мэл по-

стеснялся начать...

Молодой человек, завершая жест выбрасываемой в урну спички, с благополучными клубами дыма во рту шел позади, а первокурсницы еще не было: по-видимому, задержалась у почтового стола. Перед метро Мэл остановился, чтобы старательно докурить, на самом деле – подождать светловолосую. У нее были хорошо развитые груди и шелкающая походка на высоких каблуках. Когда пахнуло ее духами, соблазнительным коктейлем жасмина и резеды, резкая боль в паху лишила Мэла дара речи, и девушка проплыла мимо нетронутой.

В вагоне метро, ухмыляясь, она читала письмо, она уже заметила Мэла, привалившегося к металлическим перилам, напротив, по диагонали скучаяще стоял молодой человек в массовой куртке с капюшоном, над головами вились, как дымы, запахи недавно съеденных завтраков... Мэл вдруг вообразил всю пятидесятиминутную, сильно изломанную дорогу в институт, с пересадкой и троллейбусом, вдоль которой, с одинаковой скоростью, будто связанные друг с другом нитью, движутся его друзья и враги, его бывшие и будущие любовницы, и ему стало не по себе – тоскливое, щемящее чувство жизни, ее нелепого скольжения сквозь тысячи человеческих пальцев...

Неожиданно (на станции «Тверская») девушка вышла и Мэл, не успев даже подумать, рванулся за нею. На эскалаторе снизу он наблюдал икры в темных колготках и думал, как

было бы глупо это упустить, тем более что стало ясно: никакая она не первокурсница, а гостья.

Поглазев на книги у лотка, она двинулась по переходу. Мэл шел в ногу с нею, раздувая ноздри, как Кинг-Конг, обдумывая план нападения. «Наташа» – выйдя из-под земли, прочел он рекламу дамского магазина и вспомнил другой магазин, в Киеве, с похожим сочетанием букв – «Каштан», – и тут же память выбросила каскад образов прошлогодней Тани Шаталовой, ее черные курчавые волосы, ее полные губы, те и другие... Прекрасная незнакомка направилась по Большой Бронной. Мэл двигался уверенно, наигрывая что-то на дудочке «Явы», апрельское солнце утренне попыхивало в окнах, стрелку метронома имитировали складки идущего впереди плаща.

Она свернула налево, миновала театр, перешла бульвар и села на одну из лавочек у Тимирязева. Мэл почувствовал бичение в груди – теперь надо было лишь подсесть рядом, но тут высокий седой старик в светлом пальто, появившись невесть откуда, подошел, присел и сжал ее руку. Мэл плюхнулся на лавочку напротив, мгновенно убитый, с мыслью о зря пропущенном строймехе.

(Старик говорил, жестикулируя, девушка коротко отвечала, пытаясь всунуть ему небольшой черный пакет, который старик отвергал обеими руками. Вдруг девушка вскочила, бросила пакет мужчине на колени и крепко, наотмашь шлепнула его по лицу, два раза, правой и левой, после чего попра-

вила сумочку на плече и зашагала прочь. Мэл должен был встать и кинуться за ней, он уже двинул соответствующие мышцы, как вдруг в нескольких метрах от себя, справа на соседней лавочке, невозмутимо курящего увидел молодого человека в куртке с капюшоном, и все понял.

Мысль, что этот парень тоже шел за девушкой (теперь удалявшейся по бульвару) и был как бы его коллегой, лишь на мгновение мелькнула в голове, где вдруг стало рушиться огромное, с большими зеркальными окнами здание, непоколебимый небоскреб Мэла Плетнева, трескались крупные блоки, вываливалась мебель, работающие телевизоры... Старик напротив, белые волосы и белое лицо, доставал из пакета глянцевые фотографии, аккуратно рвал на четыре части и выбрасывал в урну на расстоянии жеста.

Мэл встал и медленно пошел по диагонали площади, пересек улицу Герцена, принялся внимательно изучать афишу кинотеатра и в стекле витрины увидел идущего за ним молодого человека.

«Профессия репортер». «Семейный портрет в интерьере». Этот кинотеатр посещают умные, серьезно беседующие люди, с бородами, в длинных шарфах, в очках, некрасивые остроносые девицы, и пахнет от них, преимущественно, чесноком, перегаром... Мэл подумал, что и вся его прежняя жизнь теперь от нынешней отделена стеклом.

Итак, думал он, медленно двигаясь к центру по правой стороне. Итак. Подойти и простодушно спросить. Итак, что

же он сделал. Что и кому говорил. Только Стаканскому... Стаканский! Глупо. Или ошибка. Ошибки быть не может – если берут, то уже не ошибаются. Оторваться как-нибудь через двери метро или в толпе, затем завалиться к какой-нибудь бабе, записная книжка при себе, жить у нее – сколько? – годы, пока не найдут. Читать книги. В общаге, в столе – завернутая в газету ксерокопия... Я ее даже и не читал еще. Стаканского взяли, он указал на меня. Что указал. Ведь ничего, кроме разговоров, анекдотов не было. Ничего.

Сворачивая у библиотеки, Мэл покосился. Идет. Мэл обошел вокруг манежа, подолгу стоял на переходах... Стоит. Идет. Мэл медленно, гуляя, миновал Александровский сад. Медленно, гуляя – минует, идет. Мэл с ненавистью поглядел на коренастое изваяние Свердлова, на экскурсию, глазющую вниз...

Кинотеатр «Метрополь», недавно открытый после ремонта, до утреннего сеанса минуты... Незнакомец постоял у афиши, будто бы тоже раздумывая, потом тоже зашел. Мэл сидел в полупустом зале, теша себя надеждой незаметно выйти в темноте, наблюдатель занял позицию сзади-справа. Фильм был образцом абсолютного идиотизма, радостью Политбюро. При других обстоятельствах Мэл покинул бы зал в самом начале (громогласно высказавшись, через путаницу сквозняковых портьер уверенно выталкивая свою спутницу) но теперь, в ужасающем ледяном одиночестве перед огромным экраном, он смотрел совсем другое кино...

Тогда он закончил первый курс: знаменитая четверка по общей географии, начало лета, звонкая пионерская пора, по улицам едет бесконечная колонна автобусов с горящими фарами, голос повторяет: «Пропустите колонну!» – тополиный пух, удваиваясь, галсами скользит по зеркальному паркету институтского бюро, комсорги-первокурсники, дюжина молодых людей и две некрасивые прыщеватые девушки, ведут деланную непринужденную беседу, кто-то читает, Мэл (крупный план) играет в морской бой, созерцая движение пушинок... Вдруг входит высокий, толстый, поистине огромный, улыбается, игриво здоровается с девицами, пусть и прыщавыми, решительным толчком ладони возвращает места вскочившим. В это время незаметный, то есть, очень даже заметный, но всем своим видом выражающий незаметность, некое запрещение даже поздороваться с ним, в комнату входит антипод (маленький, серенький, худой) и скромно устраивается в углу, раскладывая бумаги, вопросительно подымая перо над столом, и тут кажется, что главный именно он, так как большой молчит, выжидает, дружелюбно поглядывая по сторонам, пока устроится маленький, и только по приказу его вздернутого пера начинает говорить, но удивительное дело: как только он начинает говорить, сразу становится видно, что главный-то все-таки он.

Громовым большевистским голосом говорит он, над столом возвышаясь. О неустанном повышении бдительности. О том, что наряду с капиталистическими, в мире, как известно,

существуют и развивающиеся страны, и в этой связи ограниченный контингент студентов, представителей стран третьего мира, учится в Советском Союзе, в частности, в Москве, в самом узком смысле, в родном МИРЕУ. Специфика некоторых факультетов вуза требует от студентов упорядочивания контактов с иностранцами, в чем они и расписываются, переходя на второй курс. Разумеется, все присутствующие вполне взрослые люди и отдают себе отчет в тематике и направленности бесед с иностранными студентами, хотя, конечно, недостатки у нас есть и мы их не скрываем. Недавно одна из первокурсниц, вызванная по поводу аморального поведения, заявила, что собирается вступить в брак с подданным некоей африканской страны. Хочется верить, что подобный случай – исключительный. Девочки гнусно усмехнулись в прыщи и сделались еще более бдительными. С каменным лицом Мэл смотрел, как его линкор раздолбал два американских миноносца. Антипод что-то записывал, одобрительно улыбаясь.

Наплыв. Улицы становятся зимними. Мэл идет полуподвалом, гудящей, химически пахнувшей зоной старшекурсных лабораторий. Обитая жестью анонимная дверь. За спиной большевика, на тумбе – гипсовая – возвышается бесстрастная белая голова. Мэлу не по себе. Он уже секретарь курсового бюро, зам секретаря факультета, его гладкопричесанный чуб раз и навсегда поймал блик фотовспышки: глядеть с институтской доски почета на сексуально неудовлетворенных дур – карьера, слишком стремительная для второкурс-

ника. Итак?

Беседа строится по принципу шахматной игры. Как конкретно идет комсомольская работа на курсе, факультете. Как выполняются решения декабрьского пленума. Кто конкретно, фамилии, группы. Крупная лобастая голова – живая – и белая мертвая голова над ней.

Мэл понимает, что сейчас решается ни более, ни менее, а – его судьба. Он неуверенно рисует здоровую картину всеобщего. Вы неискренни. Мы располагаем достоверностью. Хорошо. А как Вы объясните свое поведение. В общежитии. Я слышал, Вы собираетесь жениться. Да. То есть, на ком это, зачем, с каменным лицом внутренне паникует Мэл. Далее. На вступительных экзаменах Вы недобрали полбалла. Мы взяли Вас в соответствии с характеристикой, рассчитывая на Вашу активную комсомольскую работу. Тут нервы Мэла сдают. Волнуясь, он официально заявляет, что стучать ни на кого не намерен. Вздор, речь идет не о стукачестве, а о помощи некоторым людям...

Пауза. Где-то тикает метроном. Мэл панорамирует скудную, баптистски аскетическую обстановку кабинета. Тишина начинает звенеть, и вдруг человек напротив, бесстрастно глядя Мэлу в глаза, сначала тонко и вкрадчиво, затем достигая громогласного ап-пруа! – выпускает газы. Из-под стола тянется зловещий дух сероводорода. Что, – тихо и тонко говорит чекист, шурясь. Пердеть. Хрястнул ладонью по столу. Пердеть, зараза. Мэл чувствует, как холодеет кожа его ли-

ца. Это не я, сдавленно произносит он. А кто, может быть я. Или может быть он, – через плечо шутливо указывая на белую голову. Кто, я тебя спрашиваю. Мэл вдруг лепечет извинения, он чувствует, что через секунду будет бессвязно выдавать имена, пароли, явки, адреса штабов – если бы такие имелись. Вон отсюда, тихо говорят ему. На второй этаж. Просрись. Дать бумагу. Нет, постой. Иди-ка опять сюда. Чужак. Я вынужден пробить тебе щелбан, мазик называется. Ты должен был сказать свояк, если пернул. А если не сказал свояк, то я говорю чужак и пробиваю щелбан.

Получив мазик, длинный, с оттяжкой, даже двойной, с использованием среднего и указательного пальца, Мэл пятится, бежит прочь, запирается в кабинке и с болезненным облегчением опорожняет кишечник. Стаканский жутко хохочет, подымая пенную бурю в пивной кружке.

Тут Мэл слышит нелепый в кинотеатре запах Беломора. Он видит, что незнакомец в куртке преспокойно курит, уставившись в экран. Перестаньте курить, вдруг кричит Мэл, вон отсюда. На него неуверенно шикают. Появляется служительница с фонарем и хватает шпика за рукав. Пользуясь заминкой, Мэл выскакивает из зала и устремляется к метро. Фильм снят на киноплёнке Шосткинского п/о «Свема».

Придя домой, Мэл упал на кровать и так пролежал в ботинках, шляпе и белом шарфе, глубоко засунув в карманы руки, до вечера, пока не заработал настойчивый реостат и вещи не стали постепенно уходить из комнаты в темноту.

Ему было невыносимо жалко себя и холодно – от того, что не грели батареи, от того, что это случилось именно с ним.

Словно что-то твердое, многообразное, с острыми иглами и углами, медленно тонуло в чем-то вроде ртути – именно так в полусне Мэла исчезал страх.

Мэл повертел, оглядел с разных сторон и отбросил вопрос *за что*, устремившись тем самым по проторенному кафкианскому пути.

Самое большое, резюмировал он, что они могут со мной сделать, – это отчислить из этого вонючего института. Разумеется, следствием было отчисление из Москвы, из той жизни, к которой он себя столь уверенно готовил. Все поедут дальше, а он останется – маленький, бегающий по пустой платформе, а пионеры будут ехать и петь в автобусах, с тупыми равнодушными лицами петь, в то время как маленький Мэл – бегать и звать по пустой платформе, где ветер шелестит скомканными бумажками... Отвратительная жалость к себе накатывала волнами, порой совсем успокаиваясь... Если дом загорелся, не стоит пытаться тушить пожар: ясно, что

дом сгорит, – надо спасать вещи.

Мэл увидел в зеркальной ретроспекции свою будущую жизнь: он с чемоданчиком возвращается домой, на шите, ищет работу, находит, его забирают в армию, в Афганистан или Чечню, новое возвращение с чемоданчиком, иллюзии, жизнь, семья и школа, в ежевечернем телевизоре непокоренная Москва, Кремль, трехрублевый казначейский билет...

И все это намереваются сделать именно с ним, просто, поделовому, одним росчерком пера в полуподвале, вместо того, чтобы (тут образ будущего Мэла раздваивается: из униженного с опущенной головой выходит другой, бодрый, веселый Мэл, он легко заканчивает институт, поступает в аспирантуру, становится освобожденным членом, все выше, легче возносится, руки в карманах, сигарета в зубах, белый шарф, лежа...)

Чтобы жить дальше и даже – пожалуйста – пусть и вернуться в Санск, стать секретарем райкома, расти, иметь каждый вечер новую девочку, или даже по две за сутки...

Он выпустил подряд двенадцать аккуратных колец и пронзил их острой струей дыма. Перед ним вереницей, словно гарем Абдуллы, прошли его секретарши. Он будет посещать школы, выступать с идеологическими лекциями, и там, среди десятиклассниц, на конкурсной основе... Можно, например, стать попечителем детского дома или театрального училища – благородная, классическая деятельность – тогда надо будет проситься в какой-нибудь Саратов. Можно при-

думать крупные показы мод, конкурсы красоты, можно вызывать к себе жен и дочерей подчиненных, подсыпать им снотворного в чай, как это делал Дяборя, развести секретные питомники, выращивать хорошеньких девочек, с младенчества посвящая их в тайну...

Он представил будущие свои костюмы – светлые летние, темные зимние, скромные, но добротные, как платье Карениной, какую-нибудь маленькую, но выразительную деталь, например, алмазную заколку для галстука, скажем, в виде изящной змеи, тысяч этак в пятнадцать... И персональный вертолет – непременно, обязательно персональный вертолет для осмотра сельскохозяйственных угодий.

Мэл отдавал себе отчет в том, что мечтает глупости, но стоит ли осуждать его – ведь он понятия не имел о чьей-то посторонней возможности подслушать его мысли...

И я буду с ними, с ними, на вершинах наслаждений, и я буду брать – не хватать, не хапать – а именно брать двумя пальцами, как стебель цветка, а потом придет год от рождения Христова 1985-й, и мы придумаем нечто новое, мы сменим одну правду другой, и снова будем брать, еще нежнее, с еще большим наслаждением, более изысканные плоды...

Вдруг будто какая-то на гибком медицинском шланге присоска, покачиваясь, вылезла из-под кровати и поцеловала его в шею – ведь институт есть единственное, что они могут сделать со мной на законном основании, следовательно,

они пойдут другим путем, а именно: подкараулят меня где-нибудь и преспокойно убьют, как говорят в народе – кирпич на голову упадет.

Мэл увидел бесспорную вещественность этой мысли. Вот он стоит в троллейбусе, невинно поглядывая по сторонам, красивая женщина строит ему глазки, он завязывает знакомство, выходит с ней – темные улицы, по городу движется цепная реакция собачьего лая, вдруг несколько костлявых фигур преграждают дорогу, подруга спокойно уходит по переулку, не оглядываясь, она сделала свое дело, его профессионально, с холодным отвращением бьют, он закрывается, пытаясь защитить жизненно важные органы, и вдруг ему становится ясно, что его вовсе не бьют, а его *убивают*, и он кричит, но никто не идет на помощь, потому что милиционеры предупреждены, а мирные жители боятся милиционеров, – это чудовищно, нелепо, да, слишком нелепо, скорее всего, так: они заходят в засаленный подъезд кислой капусты, она открывает дверь картофельной коммуналки, запускает тихую музыку, томное ожидание нового тела, она дает себя раздеть, вдруг вцепляется ему в волосы, орет, врываюются соседи, милиционеры, налицо попытка изнасилования, он попадает в лагерь, где его голову зажимают между дверью и косяком, делают его машкой, не выдержав кошмара, он кончает с собой, что также выглядит неправдоподобно, лучше оставить так, как это было всегда: незнакомая бедная комната, тихая музыка вечернего дрозда, острый неповторимый

запах, сугубо индивидуальный для каждой, утренний чай, в глазах благодарность за доставленные оргазмы, поглаживания: заходите еще, 3-я Паршивая улица, Дом Образцовых Фекалий, лестница вчерашнего супа.

Мэл был человеком странным, противоречивым, с одной стороны, он хотел завоевать мир, насладиться им с высоты, иметь самых лучших женщин, иметь ярких, интересных друзей, вроде Стаканского, и т. д. и т. п. В то же время он высоко ценил свое одиночество, Стаканского да и прочих людей тайно ненавидел, а что касается наслаждений – Мэл в полной мере ощущал лишь эякуляцию, его вкусовые рецепторы были развиты слабо, вообще, он воспринимал мир больше через запах, цвета его были приглушенными, тусклыми. Родившись в год собаки, а по странному совпадению – и в час собаки, Мэл, в сущности, и был этой самой собакой, так, по крайней мере, он иногда с горечью думал о себе.

Недостатки и слабости, которые Мэл тщательно скрывал, несколько смещали уже вполне сложившийся образ. Плохое зрение делало окружающих людей лимоннолицыми, без каких-либо существенных черт, очки, разумеется, Мэл категорически не носил: кроме вполне понятной причины, была еще одна, странная – он боялся, что количество женщин уменьшится еще и потому, что он их слишком хорошо разглядит.

Женщин у Мэла было уже больше сотни, в прошлом году он как раз посчитал на компьютере, и – удивительная вещь

– тогда их оказалось девяносто девять, и Мэл срочно взял недостающую, вместе с ней, кстати, и отметил это дело, ни слова ей, собака, не сказав. За всю его недолгую жизнь ни разу – верите ли? – не было у него отказного случая, что могло бы послужить либо косвенным доказательством существования некоего еще не открытого донжуанского поля, либо... Вполне возможно, что шестое, или даже седьмое чувство подсказывало Мэлу: с этой де не выгорит, немедленно шел электрический импульс в мозг, в центр наслаждения, и Мэл не испытывал ни страсти, ни боли в паху...

Своим бесспорным недостатком Мэл считал непреодолимую тягу к табаку, много раз он пытался бросить, безуспешно, в конце концов смирился, со злостью сообразив, что этим наградил его «дед», куривший, как паровоз, исключительно папиросы, омерзительный Беломор, уводящий в ассоциацию о парашах, бушлатах, каких-то закопанных скелетах... Была у него еще одна, совершенно незамотивированная привычка – в гостях он всегда воровал спички, как бы машинально засовывая коробок в карман: никому и в голову не приходило, что он делает это обдуманно, расчетливо. Другой его странностью было внезапное, непонятное желание ночевать где-нибудь вне дома: частенько он засиживался допоздна у того же Стаканского, и тогда хозяева сами не хотели отпускать его в жуткую, полную стрельбы ночь, и Мэл как бы с неохотой соглашался, влезая в плюшевый халат, впрочем, скорее всего, здесь прослеживалось желание комфорта, элементарной

домашней ванны...

Вот каким чужаковатым персонажем был этот Мэл Плетнев, и вряд ли стоит говорить, что это совершенно не типичский образ, не какой-нибудь там Базаров, Мышкин или Дубровский.

Ночь... Свесившись с кровати, Мэл далеко шарит, рука натывается на твердый предмет, завернутый в ситцевую тряпицу. Это – инструмент.

Музыка была для Мэла мерцанием, он видел здание, чьи загадочные окна возделывали мелодии ночи и пустоты, – вот почему инструмент Мэла Плетнева, инструмент, специально для него изготовленный его другом, мастером Сакварелидзе – из красного и лимонного дерева, с инкрустацией тончайшими пластинками янтаря, слюды, смарагда, инструмент, найденный после известных событий и так озадачивший следователя, – был похож на узкое многоэтажное здание с пылающими окнами. Вот почему, разворачивая свой инструмент, Мэл накладывал длинные артистические пальцы на разноцветные шторы человеческих жилищ и, слегка надавив, извлекал свои симфонии и фуги, свои рапсодии и гимны, и двигались по ночному городу дивные сполохи света, будто город, глазированный, сахарный, со свечами тысячелетия подавали на стол великана, и он следил внимательными белыми глазами, сглатывая слюну, как вспыхивает где-то на Сретенке очередной аккорд и, в мгновение ока полыхнув по бульварам за реку, взлетает на Воробьевы горы, чтобы по-

том вынырнуть в Коломенском и в более дальней перспективе нестись по тьме и сырости южной Подмосковии, где лишь мельчайшими искрами полыхают отдельные дома, станции, церкви... И толпы обезумевших от ужаса людей вываливаются на улицы, срывают друг с друга одежды, разрывают друг другу рты, – и вот уже пляшет бесноватый в кальсонах, как занавеска в окне, на площади перед памятником Ришелье, прямо на колодезном люке, и скачут, гулко стуча, вниз по лестнице отломанные головы...

Он сфантазировал себе рок-группу, в лицах представив ее состав: это были замечательные, безраздельно преданные ему ребята, они были столь же реальны, как, скажем, литературные персонажи, жили своей, неуправляемой жизнью, и плевать им было на собственную нематериальность.

Мэл не хотел быть ни органистом, который, сложив губы трубочкой, склоняется над клавиатурой, ни даже лидером, в экстазе выгибающим спину с фаллической гитарой наголо, ни тем более ударником, который на заднем плане иронически переглядывается с публикой, когда друзья-артисты пускают петуха.

Мэл был загадочным басистом с гитарой, длинной, как ружье, он ставил изумительные звуки среди спрессованной публики, словно палочки в муравейник для добычи кислоты, разумеется, он сочинял тексты и музыку, и был неофициальным, теневым руководителем группы, и с первого же взгляда было ясно, что главный здесь именно он. Мэл зависал на

перекладине в метро, с каменным лицом онаниста, и лишь по ритмическому дрожанию век можно было догадаться, что внутри молодого человека происходит музыка, броуновское движение зала, пятеро маленьких человечков на сцене, наполняющих мир грандиозным звуком... И никакого значения не имеет, что с рождения нет Мэла ни малейшего музыкального слуха, иначе бы он действительно пытался стать музыкантом – в яркокварцевом ореоле славы, в бешеном серебре софитов, он имел бы, наверно, столько же девочек, и вовсе не нужно было ему карабкаться по этой лестнице, годами высиживать материальную власть...

Инструмент Мэла Плетнева был глухим. Мейстер Сакварелидзе изготовил плоскую, размером чуть больше компьютерной клавиатуры, доску, в которую были врезаны выступающие клавиши, их легко было нащупать, но вовсе невозможно нажать. Каждая клавиша соответствовала определенной ноте, полулежа в кресле, Мэл клал инструмент себе на колени и, водя по клавишам пальцами, внутренне слышал или, вернее, воображал свою волшебную музыку.

Дверь была заперта, тишина... В тишине было слышно лишь глубокое дыхание музыканта и легкое постукивание ногтей о деревяшку, но это была неведомая, фантастическая, феерическая музыка, и лишь один человек в мире слышал ее.

Анжела стучалась тихо – пять коротких телеграфных стучков в размере три четверти. Девушка разбежалась и

прыгнула, запрокинув ноги ему за спину. Мэл отечески похлопал ее по плечам.

– Я очень скучала за тобой.

Она восседала у него на коленях, его мысли металась в знакомых читателю пространствах, он машинально поглаживал ее бедро, вневчужденно, как бородач теребит бороду, его слова были бездумным отражением ее слов:

– Да?

– Да. Я каталась на лыжах в горах, у нас там зимой бывает снег. А в прошлом году был снег и внизу, мы катались на санках по улицам, а один Лешка – он даже спустился на горных лыжах с Ай-Петри, мимо Тюзлера и Учан-Су, вылетел на Советскую площадь и лихо развернулся у сучьего дома, правда, потом лыжи пришлось выбросить, потому что там кое-где торчал асфальт.

– А я считаю эти катания пустой тратой времени.

– Да?

– Да.

– А на что же вы тратите свое бесценное время, милорд?

– Так... В жизни есть дела поважнее.

– Ты, наверно, пишешь роман? Я угадала?

– Какая ты догадливая.

– А можно примазаться к твоей славе?

– Только посмертно.

– Не говори так. У нас во дворе был мальчик, его потом в горах нашли, в обвале, так он тоже написал роман. Меж-

ду прочим, он его мне посвятил... Бр-р! Какой был гнусный роман – там всю дорогу только и делали, что пердели, как в фильмах Феллини, да беседовали о строении Вселенной, честное слово, пятьсот страниц сплошного пердежа и какой-то странной, душераздирающей философии... Вообще, этот роман как будто бы медленно сходит с ума: герои говорят совершенно не характерные им речи, меняются местами, репликами, причем, безумие его совершенно уникально – каждый читатель, в меру своей испорченности, находит свою, индивидуальную точку безумия... Эй, ты не заснул? А ты знаешь, что Вера Лемурова пишет стихи?

– Да ну?

– Ну да! Очень дурные стишки про чувства. Она у нас трагическая женщина.

– Ну ее на фиг.

– Правильно. У нас есть много о чем поговорить, кроме нее. А откуда ты родом, Мэлор?

– Из Стамбула.

– Не смешно. Ты турок?

– Нет, правда, я родился в Стамбуле, где мой отец был полпредом. Мы даже жили полгода в Италии.

– Правда? Расскажи.

– Скучно. Эмигранты едят бананы. Есть обычные, есть круглые, есть маленькие, словно пиписьки, а нам присылают зеленые, кормовые.

– А я никогда не ела бананов.

– Как?

– Так. В Ялте их не бывает, а в Москве денег нет.

– Может, ты и апельсинов не ела?

– Ела недавно. Под Новый Год. Слушай, этот Пурся хотел меня трахнуть под бой курантов. Набей ему морду, а?

– Непременно. Только найду предлог.

– А ты просто – вызови его на дуэль.

– А если убью?

– Отсидишь и вернешься. Я буду тебя ждать, я верная. Да не улыбайся ты так кисло, будто лимон схавал! Я пошутила. Пурся уже получил свое.

– Да? Кто же это постарался за тебя?

– Я сама. Охуячила его хрустальной вазой. Я ведь девушкой была, неужели ты так и не понял?

– Понял.

Анжела мягко взяла его руку и положила себе на грудь. Из рта у нее так ужасно, так нестерпимо пахло, что Мелу захотелось украдкой, беззвучно пукнуть, чтобы хоть помечтать запах...

– Я теперь очень спокойная, потому что у меня есть ты.

– Я тоже.

– Знаешь, мне жизнь казалась совершенно бессмысленной.

– Она и так бессмысленна.

– Нет. Жизнь – это другие. Когда ты один, ее просто нет. Я всегда была одна и ждала. Я даже ни разу не поцеловалась.

– Трудно представить.

– Отбивалась руками и ногами. Потрогай меня здесь... А однажды меня хотел взять старик.

– У меня тоже в детстве была девочка, которую взял старик.

– Ну? И что с нею стало?

– Она умерла.

– Из-за старика?

– Нет, это совсем другая история. После расскажу... Тебе не жарко в этой зеленой кофте? Да. И это сними.

– Ах, ты родной мой! Какие же у тебя добрые глаза, какой ты большой и теплый, живой... Я так люблю тебя, Андж!

– Андж? Ты назвала меня Анджем?

– Прости, оговорила... Я вспомнила брата.

– У тебя есть брат?

– Лейтенант КГБ. Только никому не говори.

Мэл внутренне захохотал, будто из-за шторы выглянуло и сразу спряталось какое-то смехотворное лицо.

– Почему ты улыбаешься? – капризно спросила Анжела. – Между прочим, он у меня очень ревнивый. Его мечта – удачно выдать меня замуж.

Мэл покраснел. Он увидел гнусную картину: зловещий брат в голубом мундире коротким ударом плеча швыряет его на стул и, тыча ему в грудь пальцем, скупыми фразами наставляет в будущей семейной жизни. Свадьба в закрытом

распределителе, родственники, старые лысые в штатском, Стаканский заводит свою песню о Сталине, двое из гостей переглядываются, Мэл понимает, что он уже ничем не может помочь другу, вдруг мелькает отдаленная надежда...

– А где он служит? – с самым безразличным видом поинтересовался Мэл.

Внезапно все перевернулось, звеня медалями: крепкая волосатая лапа в органах, жертва сама становится судьей... Анжела высокомерно рассмеялась:

– Трудно отвечать на такие вопросы!

Несколько секунд Мэл ее ненавидел, затем снова вернулась чувственность, нежность. Он вспомнил подколенные ямочки за черными колготками, утреннее возбуждение, метроном на крупных ягодицах, рука его заскользила по ткани, по-хозяйски нащупывая пуговицы. Боль в паху стремительно нарастала, но зуд ее был сладок в предчувствии близкого разрешения. Мэл был одним из тех немногих мужчин, способных испытывать мощнейший, длительный, чисто женский оргазм, правда, за сей редкий дар ему приходилось расплачиваться мгновениями мучительной боли...

Погружаясь в это незнакомое, опять новое тело, Мэл вдруг недовольно поморщился: не будет ли это повторяться каждую ночь?

(Ты во мне, ты во мне, ты во мне! – с восторгом причитала девушка. – Пива мне! Пива мне! Пива! – слышалось ему, и

он улыбался, думая, как расскажет об этом другу...)

На самом интересном месте, в самый момент его слабости, вдруг требовательно и громко постучалась Мышь. Анжела заговорщически захихикала, в то время как Мэл уже высунул язык, начиная все громче стонать...

Потом, когда он отдыхал, Анжела приподнялась на локте (Луна или лампа сквозь окно красила ее лицо в молочно-белый цвет, она безнадежно кого-то напоминала...) и вдруг поведала ему великую тайну.

– Я пишу стихи.

Мэл искренне удивился:

– Давно?

– Не очень. Даже очень недавно. Короче, сегодня ночью и дебютировала, после тебя.

Она вдруг проворно встала и принялась одеваться. Мэл вежливо отвернулся. Ему нравилось, что она уходит.

– Вот, – сказала Анжела, положив на стол листок и выразительно припечатав его ладонью. – Теперь вы все обо мне знаете, милорд.

Едва за ней закрылась дверь, Мэл подошел к столу и врубил лампу. Он сам болел стихами, стыдился этого недуга и никому не показывал опусов, лишь однажды Стаканскому-старшему, который профессионально раскритиковал их, именно и употребив эти смехотворные словечки: недуг, опус, болеть...

Восьмистишие было написано жирным синим фломасте-

ром, строчки, не уместаясь на листе, сползли книзу, в правом верхнем углу было посвящение – *М.П.*

Сначала Мэл ничего не понял, но, перечитав, убедился в полной бездарности опуса. Как ни странно, *М.П.* ему польстило: он чувствовал то же, что чувствует девочка, когда ей впервые в жизни дарят цветы. Рядом лежала большая фотография, где была изображена запутавшаяся в собственных волосах Анжела, на фоне каких-то гор. На обороте стояло: «Ветер...» – очевидно, название снимка. Мэл вгляделся в лицо девушки, и вдруг оно переменялось: из-под разбросанных Анжелиных волос на него посмотрела другая девочка. Мэл бросил фото на стол и, словно в романе, трагически хлопнул себя по лбу. Голый трагический человек с хлопком по лбу выглядел в зеркале весьма забавно.

Оллу, маленькую давнишнюю Оллу, которую Мэл в детстве до смерти напугал, напомнила ему фотографическая Анжела.

Мэл Плетнев был родом из Санска – не Петербурга, Обояни, Стамбула, не из Тамбова даже – не из какого-либо существующего города нашей необъятной, ее европейской части – из Санска, и это было почти неприличным, звучало несолидно, даже слегка похабно.

Опустим длинное и противоречивое описание этого уездного городка, достаточно сказать, что Санск стоял на обоих – высоком и низком, зеленом и желтом – берегах Шумки, что придавало городу аномальность, ступенчатость, блеск.

Я говорю о многоэтажности одноэтажных зданий, соперничестве зеркал во владении вечерним солнцем по вертикали, когда Мэл, бывало, возвращался домой из школы, перемигиваясь со знакомыми окнами – теплый весенний вечер, вода и снег сливаются в кощунственную аморфную мздру.

Был ли кто в этом городе счастлив? Когда-либо?

Шумка огибала невысокий, но ярко выраженный холм, он был разрезан оврагами, на овражных склонах (хотелось сказать: лепились) санские домики – внутреннее содержание города, а досужему путешественнику могло бы показаться, что улиц в город вообще нет, но поскольку городов без улиц не бывает, улицы в Санске все же существовали.

Широкая и длинная, почти прямая в плане, но горбатая вертикально, улица К.Маркса разрезала холм или Лысую го-

ру (как в далеком, догородском прошлом ее нарекли) на две одинаковые половины, а поперечные, кривые во всех измерениях улки, струились вниз, – таким образом, пассажиры автобуса ИЛ-86, бездарной, плохо задуманной и кое-как построенной машины, один раз в день выполнявшей рейс Ленинград-Ашхабад и обратно, всегда с ужасом высовывались из иллюминаторов, поскольку им казалось, особенно осенью, что у излучины реки лежит гигантский, весь в опухолях и язвах, обнаженный человеческий мозг.

Два узких моста связывали его с пойменной частью города, раз в несколько лет, в период дождей, заполняемой водой. Здесь было все по-другому. Прямые, словно натянутые, улицы и проспекты. Двухэтажные дома с колоннами и львами. Статуи в общественном саду. Южной Пальмирой иногда называли Санск его жители, игнорируя основной нагорный район. Нижний город был построен по петербургскому образцу, александрийским способом... О-да, мы были когда-то счастливы!

Особенно темными зимними вечерами, когда Мэл, крадучись, возвращался от... Впрочем, не надо, – его душа пела, ноги гудели, он чувствовал себя настоящим мужчиной.

Кто из нас не брался за эти случайные ночи, останавливая словом жест чьих-то хладеющих рук? Когда героиня не так уж важна – есть только ее отдельные черты, локон на плечо... Без будущего, словно стихотворение пишется в самый момент происходящих событий, в глуши, во мраке. В дан-

ном случае (Мэл Плетнев, Санск) в игре принимал участие низкий дом с голубыми ставнями, с камином, светящим в углу, как телевизор, притупленные собачьи голоса за стеной... Мэл бросал в огонь собственной наколки сосновые поленья, свеча горела на столе (перебои с электричеством) оба смотрели в открытое пламя, большое и малое, свеча дивно заполняла комнату, босоногая возлюбленная шлепала в сени, гремела ведром, тихо материлась, спотыкаясь об нечто, а Мэл, как и положено юноше в такие минуты, лежал, вытянувшись, и млел, что заключало в себе и предчувствие конца романа, и навсегда покинутый Санск: я буду жить долго-долго, и много пока еще не знакомых женщин, и т. д. В комнате нелепо пахло смолистым костром, и в последующие годы, глядя на образцы различного пламени – костер, пожар или спичка, до предела сгорающая меж пальцев, хитро загибающийся вверх угольный остов, – Мэл вспоминал свои первые впечатления, свои неумелые судороги – одно, на всю жизнь тайное значение огня.

Улицы Санска не освещались, т. е. ввиду аварий на городской атомной электростанции, время от времени, а зимой почти каждый вечер, во всей округе гасли фонари, – на ощупь совершал Мэл свой фаллический путь туда и обратно.

Окна озарялись свечами и керосиновыми лампами. Медленно активизировались городские собаки. Сначала один, робкий сонный песик тихо тьявкал невдалеке от Мэловского сапога, и тут же разворачивалась цепь немного впереди по

другой стороне улицы, и – пока маленькие шавки вставляли с безнадежным подвыванием – хозяин все еще разворачивающейся цепи глухо бэжал, тем самым давая сигнал небольшому аккорду собачек средней величины. Цепной реакцией лай взбегал вверх по Ореховой улице, стремительно разливаясь в боковые переулки – Отрадный, Дунаевского, 3-й Мощеный; какое-то время по звуку можно было отраженно вычислить ночного пешехода, затем, – наверно потому, что по разным склонам Лысой горы пробиралось сразу несколько человек, ночных возвращенцев, – лай захлестывал весь верхний город, гулял и пульсировал, взлетал и падал, но стихал внезапно, потому что вдруг давали свет: он быстрорастущим кругом, со скоростью тока в проволоке, опалял город, мельчайшие фонарики проникали в самые потайные уголки садов, где-то внизу медленно укладывалась невидимая цепь, гигантское бэхало ложилось спать, Мэл червяком влезал в щель тяжелой скрипучей калитки, шуршаво поднимался по деревянной лестнице, легко, невидимо проникал в свою комнату и ложился, невидимый, запретный, потому что ему тогда было пятнадцать, а ей тридцать шесть, мать думала, что Мэл не курит, он отлично учился в школе, детские прыщички на спине, удил рыбу на мостках за домом...

Олла, юная несчастная Олла сгубила его.

Дом был для Мэла данностью, то есть, он не помнил, как и когда впервые открыл какие-либо существующие детали дома, но зато убедительно помнил, как видел детали, которых у дома нет.

Например, раз в рубашечке и босиком Мэл выбежал на каменный пол и – шлеп-шлеп-шлеп – в какой-то темнозеленой сводчатой комнате увидел, как «дед» (в кавычках, потому что все же прадед) в чудесном звездном колпаке с кисточкой склонился над шипящим устройством... Зажмурившись, Мэл втянул острый воздух, симметричный растительному, и это было первое в жизни опьянение, дальнейшее – молчание, в том числе и последующий сон, не помню. Он видел женское лицо, именно женское, а не лицо вообще, значит, в ту ночь его падение полностью завершилось.

The rest is silence...

Второй существенной деталью дома (из тех, которых не было) была невысокая, даже очень маленькая – так что потолок можно было достать руками (причем обеими ладонями сразу) темная камера, куда Мэла вводили, если он шалил.

В камере стоял большой ночной горшок, он был уже полон, тусклый свет просачивался в щели между стенами, полом и потолком, чтобы в абсолютной темноте ребенок не пропустил самого главного, интересного – момент, когда

начнется *это*.

Оно начиналось обычно с тихого несущественного звука, словно некто подходил к двери, которой, впрочем, в камере уже не было, и камера снаружи казалась небольшим ящиком на полу. Так вот, к этому ящичку некто снаружи подходил. Внутри камеры, где стоял, подняв руки, ребенок, начинали происходить жуткие, таинственные вещи.

Дом стоял на берегу реки, вернее, выходил на ее бережок огородом, или садом, так как место действия было средне-русским худым гибридом обеих форм.

Раньше река была огромной, медленной, постоянно текущей твердью воды, и была детским жестом растопыренных пальцев (неуверенно: каким из них надо пользоваться в качестве перста) когда Мэла вынесли, кажется, дед, на первый берег и попросили ее показать.

С улицы дом выглядел более чем скромно: три заставленных окошка, ворота и уже упомянутая скрипучая калитка, любой прохожий имел полное право отметить убожество жилья, не обратив внимания на слишком уж жирный каменный цоколь.

Если же открыть калитку и заглянуть во двор (любопытная гусиная шея, удивленные глаза) то все внутри вставало на свои места – и стремительная кирпичная лестница в ступенчатом саду Семирамиды, с каменными вазами на перилах, плакучие ивы и прочие декоративные деревья, и дом, неожиданно двухэтажный, с множеством веранд и балконов,

непредсказуемый, нерушимый. Далее (сбегая садом вниз, трясая длинными лучистыми волосами – Олла!) за поворотом меж двух правильных цветочных тумб, бурных факелов немыслимого запаха, открывалась уютнейшая виноградная беседка, с сетчатой тенью и шорохом, эхом столетнего шепота в ночи полнолуний, и калитка – заветная калитка на личный пляж Плетневых, с умопомрачительным петербургским видом противоположного берега... Сам дом, следуя склону, обнаруживал здесь уже третий, полуподвальный этаж, где размещались просторная кухня, столовая, склады. Над ними была большая, в три света зала, куда вела узкая скрипучая лестница (внутренняя) из кухни, и – металлическая, подвесная, увитая крепкой виноградной лозой – из сада. Кроме того, тремя двустворчатыми стеклянными дверьми зала соединялась с другими помещениями второго этажа и коридором, с лестницей на третий, то есть, первый со стороны улицы, имеющий скромный отдельный выход во двор...

Понять дом было невозможно и за неделю, особенно, если ты приехала в гости, в чужой город и чужую страну, тебе четырнадцать лет и ты не вполне уверена, что внешний мир существует.

Олла обнаруживала двери и зеркала там, где их еще вчера не было, окна, логически выходившие на городской простор, заключали в себе внутренность смежной комнаты, лицо дедушки, который никогда не разговаривал, а только смотрел из-под синего ночного колпака, угрюмо пожевывая папиро-

су. Возможно, в доме, среди темных, будто всегда кого-то прячущих комнат, были тайные, вовсе без окон комнаты, замураванные, вечно хранящие затхлый неподвижный воздух сундуков.

Олла приехала вместе с мамой – дальние рижские родственники – она была двумя годами его старше, Мэл надувался и рдел, проходя сцену всеобщего знакомства (даже дедушку выкатили в кресле на обозрение) а потом, ночью, хорошо сквозь стены представляя, где она спит (или не спит – ворочается?) Мэл вдохновенно мечтал о ней, о будущем счастливом месяце, неожиданно выделенном ему из обыденного каникулярного лета.

Утром у рукомоЙника – запах, бесспорно цветочный, но незнакомый, Мэл двинулся по коридору, раздувая ноздри, в сад, где в беседке (листья, пожалуй, удерживают гирлянды ароматических молекул) нашел книжку на чужом языке (две точки над «i», словно «ё») и далее, за полуприкрытой калиткой, в плотном коконе запаха на берегу Шумки обнаружил ее сидящей на корточках. Обе ладони Олла погрузила в воду и, внимательно сощурившись, обернулась на него.

Мэл закинул несколько пробных приветственных слов, девочка с любопытством наблюдала за ним через плечо, самые кончики ее волос были также погружены в воду, разговор установился...

И Олла объяснила Мэлу свое видение реки.

Это были следы уток на песке под водой, столь же четкие,

что и на суше, листья, лежащие на дне, вырезанные из пластин ржавого железа, и листья, плывущие в толще воды, еще не затонувшие, не набравшие мирового железа – они давали живые тени. Солнце было напротив, оно плавало гребешки волн, превращаясь на дне в длинные змеистые линии, очень нервные; полупузыри воздуха бросали на дно хорошо отфокусированные иглы, Олла видела, как вытягивались вдоль течения водоросли, как корни прочно удерживали их в песке. Она видела глубоко летящих рыб, которые оставляли подвижные нитяные следы, колышущиеся объемы чистой воды, чаще двойные, как пузыри гигантских рыб, солнечные блики, слепо влекомые волнами – Мэл слушал и расширял свое зрение. Братское чувство переоформлялось в запретное, с этого момента между двумя детьми встало то неизбежное, что должно было произойти между двумя детьми в замкнутом пространстве сада и дома, в одном из тайных уголков, о существовании которых и не подозревают взрослые, хотя и считают, что хорошо смотрят за своими детьми.

Смотри, говорила Олла, он не сразу убивает ее – об огне и щепке, брошенной в огонь. Он обнимает ее и долго – смотри, как долго! – она остается целой, невредимой, странно: она вся в огне, но еще жива. Так он обладает ею – ты понимаешь, что значит это слово?

Об-ла-дает, – подумал Мэл. Окружает, обкладывает блестящими звонкими ладами.

Огонь, говорила Олла, был и есть один на Земле. Одна-

жды он возгорелся и размножился – от искры к искре. Все огни – огонь, частицы единого большого огня, и стоит потухнуть одному костру, как где-то на другом конце Шара загорается новый. На каждой планете строгое количество огня. Если оно увеличивается, планета гибнет, если оно уменьшается, планета гибнет опять. Такое случилось и с моей далекой планетой, и вот я здесь, с тобой... Мэл был уже по уши влюблен в эту странную девочку.

Любая новая девочка была ему безумно интересна, потому что на свете не бывает не то чтобы двух одинаковых, но и вообще – даже двух похожих девочек: даже близняшки Ася и Аза, которых родители одинаково одевали – то ли следуя какой-то чудовищной моде, то ли из экономии – настолько отличались одна от другой, что лишь слепой или глухой мог их перепутать.

Ася обладала удивительной способностью краснеть, была застенчивой, жалкой, Аза, напротив, часто отпускала рискованные шутки и сама же над ними смеялась. Алла любила музыку – легкую, плавную – амурские волны или танго Соловья, Антонина предпочитала четкие ритмы диско, металла и рэпа. Анна имела привычку закусывать верхнюю губу, Алина – нижнюю, Ариша пристально смотрела расширенными зрачками, будто пораженная ужасом и болью, Ада высовывала язычок, острым кончиком достигая носа. Августа, напротив, вываливала свой огромный фиолетовый язык вниз-набок, издавая высокие протяжные стоны, Акилина крепко

зажмуривала глаза и мерно раскачивала головой из стороны в сторону, Ариадна широко улыбалась, щурясь от удовольствия, Андрона любила натянуть подол себе на лицо, так что сквозь материю проступал какой-то забавный Фантомас, Анфиса никогда не снимала носков, похоже, из соображений гигиены, Агнесса не раздевалась вообще, позволяя лишь расстегнуть молнию джинсов, Аглаида, словно соперничая с нею, снимала с себя все, вплоть до дешевых сережек, шпилек, обручального кольца, Алевтина истерически требовала только фирменных усатых презервативов, Агриппина же терпеть не могла всей этой резины и, будто какая-то пожилая учительница, была буквально помешана на графиках и диаграммах, Аграфена, иногда называвшая себя Аделаидой и даже Аделиной, громким страстным шепотом читала стихи Иннокентия Анненского, Альбина вела долгие философские диспуты, тематики столь же разнообразной, как и применяемые ею подпозы, не прекращая дискуссировать даже во время своего оргазма, и лишь только одна Шурочка, милая моя, искренняя – делала все просто, чисто по-человечески, совершенно без всяких фокусов...

А какие у девочек были запахи, если вынюхивать девочку по частям: лиственные, лесные запахи ее волос – березовые, каштановые, липовые, деревенские запахи ее рта и ушей, запахи мегаполиса в ее промежности и подмышках, мягкие хлебные запахи ее груди... Мэл умащивал девочек мамиными духами и дезодорантами, натирал мамиными кремами,

умело использовал он и природные материалы, осыпая любовное ложе лепестками роз, лаская девочку головкой одуванчика, угощая земляникой... А каким наслаждением было любить девочку в стоге сена, в пойменных лугах загородных излучин реки, где вперемишку с травой были засушены мельчайшие дикие цветы, а однажды в бане, в липецкой деревне у двоюродной бабки, когда пришла насмешливая соседка, афганская вдова и, заметив его взгляд, умыкнула с собой потереть спинку... С тех пор он страстно мечтал повторить это древнерусское благоухание, и даже придумал себе суррогат, как-то раз, уже в Москве, преодолев брезгливость, отправился в общественные бани, но при первом пощипывании парного запаха с ним произошла вполне понятная вещь, и моющиеся мужчины приняли его за педераста.

Он любил дарить девочкам скромные, но значительные подарки, которые чудесным образом возвращались обратно: так, Анжеле он подарил ампулу розового масла с каплей болгарского солнца внутри, чтобы потом потерять сознание в дебрях собственного розария... Он мечтал полюбить девочку вдвоем с другом, крутить ее на широком ковре в четырех руках, четырех ногах, удвоить ее наслаждение, чтобы оно, размножившись в геометрической прогрессии, вновь вернулось к нему.

Бедная, несчастная Олла, прилежно читавшая книгу, она и представить себе не могла, какие необузданные желания вызывал у русского мальчика ее гладко зачесанный затылок.

Утром они вместе топили теплицу, накалывая тонкие смолистые лучины, днем пололи огородик (сырая черная земля, уже вполне хрустящая морковь, червяки) вечером поздно, в беседке, где луна вдруг разваливалась, нет, нарезана была на сотни виноградных листьев – зловещим шепотом рассказывали друг другу невинные страшные истории (Олля! Зун звейкас бьес киелис? – Да ладно вам! – голос матери Мэла. – Двор же на замке...)

Однажды девочка увидела на своей постели точечное красное пятно. На другое утро пятно выросло до размеров пятикопеечной монеты. Ночью ей приснился сон, будто Учитель пришел к ней и укусил ее в шею, и стал сосать кровь. Девочка ударила его туфлей и вышибла каблуком ему зуб. Наутро учитель пришел на урок без зуба. Следующей ночью (а пятно стало уже гораздо больше, как рубль) ей приснилось, что Учитель грызет ее пальцы. Она ударила учителя топором по ноге, а он пришел в школу без ноги. Между тем, пятно выросло до размеров луны, а Учитель пришел к ней ночью и стал... В этот момент Олла вцепилось Мэлу в плечо и заорала глухим басом: Отдай мою кровь! – будто сам ужас вцепился в него.

Все существующие истории были рассказаны и пришлось сочинять новые, воображение Мэла бездарно кружилось вокруг черных перчаток и подозрительных пятен, Олла сочиняла причудливые образы, явно выпирающие за рамки детской мифологии. Ничего, думал Мэл, когда я буду таким же

взрослым, как она, я сочиню много мудрых книг, здесь, в этой беседке испишу множество коричневых тетрадей, меня узнает весь мир... Нет, ничего он так и не написал.

Темнозеленая, гладкая Убивайя с золотыми глазами, большая толстая Убивайя снилась им по ночам, переходя от окна к окну по карнизу и склоняясь над их постелями. Убивайя всегда появлялась там, где кого-то убивали, она выглядывала из-за плеча убийцы и смотрела на жертву, большеголовая, безногая, медленно ползая горящими глазами туда-сюда. Прославленные сыщики знали, что там, где появляется Убивайя, неминуемо произойдет убийство, они шли по ее следам, крупным треугольным отпечаткам в глине... Мэл внутренне собирался, по едва уловимым признакам чувствуя: сейчас Олла будет его пугать, скрежеща зубами.

Лунное лицо Оллы источало холодный матовый свет. Губы были такими же белыми, как и кожа, и Мэлу казалось, что она уже давно мертва.

Пора спать, говорила Олла внезапно, на самом интересном месте, как Шахерезада, и уходила шелестя, оставляя в беседке дымный призрак Оллы, на глазах теряющий форму сгусток запаха, насыщенную гамму острых девчоночьих духов и подмышек, и Мэл старался почувствовать ее путь по лестницам и коридорам, пока наконец не освещалось окно ее комнаты, затем свет перемигивал: при ночнике Олла читала свою чужеземную книгу.

Мэл видел, что Олла идет к нему, и это наполняло тайным смыслом каждое ее слово и движение, Мэл видел, как Олла идет к нему по обширной площади с колоннадами зданий на горизонте, вытянув вперед руки, в длинном белом балахоне...

Они поверяли друг другу свои тайные мысли и сны, удивляясь совпадениям, казалось, остался один-единственный маленький шаг, чтобы действительность приобрела новый смысл, и раз вечером, засыпая, вытягивая трубочкой губы, Мэл твердо поклялся себе, что завтра крепко возьмет ее за плечи и прямо в рот поцелует, крепко, с языком, но утром все перевернулось, закачавшись в каком-то новом равновесии, и началась другая история, потому что в Санск прибыл Дяборя.

Это был студенческий товарищ отца и старомодный поклонник матери, целующий ручку и шелкающий каблуками. Он больше других гостей разговаривал с детьми, обращаясь на равных, слушая с серьезным, внимательным лицом.

Дети в доме Плетневых обычно существовали сами по себе, и если их летом собиралось трое или больше, им даже накрывали отдельный стол. Они довольствовались короткими репликами разрешающего или запрещающего толка, обрывками серьезных разговоров – вечерами, на веранде, когда общество наслаждалось традиционным липовым чаем, довольно вкусным... Иногда кто-нибудь солидно подзывал ребенка, задавал несколько вопросов и, успокоившись тем,

что ребенок мечтает стать космонавтом или фотомodelью, отпускал «поиграть», напутственно хлопая по заднику.

Впервые появившись в беседке – в твердом, волнуящем табачном коконе – Дяборя за полчаса довел обоих детей до истерического хохота, исполняя в лицах картинки из своего детства – где-то под Киевом, в дачном поселке НКВД, который по своему строению был подозрительно похож на город Санск... Когда стемнело, они вывели его на берег и показали вечернюю Пальмиру. В ответ на это Дяборя показал им восходящие над Пальмирой звезды. Тогда Олла показала Дяборе, как созвездие Северного Муравья отражается в реке. Напоследок Дяборя пообещал завтра же придумать нечто такое, что удивит весь город и окрестности, пожал руку Мэлу, поцеловал Оллу в макушку и удалился.

– Странный человек, очень странный человек, – несколько раз задумчиво повторила Олла. «Шеловек» получалось у нее.

Выйдя наутро во двор, Мэл с удивлением увидел, что Олла и Дяборя уже на ногах, увлеченно мастерят что-то в сарае. Мальчик обиделся, что начали без него, но, едва посвященный в суть дела, пришел в настоящий восторг: они строили летающую тарелку, это должен был быть монгольфьер из папиросной бумаги, полтора метра диаметром, раскрашенный для пушей видимости черной тушью. Дяборя показал Мэлу свои расчеты: энергии одной тщательно спрятанной под аппаратом спиртовки должно было хватить, чтобы он взлетел.

Три дня они увлеченно работали, распевая популярные в то лето песни, скептические головы взрослых заглядывали в сарай, иногда кому-нибудь удавалось умыкнуть Дябору на стакан вина, он возвращался веселый, обнимал детей, похлопывал их по плечам. Пуск был назначен на воскресный вечер, когда на улицах города много празднующегося люда и переполнены пляжи.

Олла зажгла спиртовку, шепотом произнесла заклинание, и вскоре шар приподнялся на лесках, полный живого горячего воздуха. Олла тронула одну из лесок и, натянутая, она зазвучала, словно струна. Дяборя произнес краткую речь о неопознанных летающих объектах, в существование которых люди отказываются верить, и по его команде все трое разом перерезали лески. Под дружное «Ах!» обитателей веранды, где пили пресловутый липовый чай, тарелка, медленно вращаясь в поисках равновесия, легко взмыла в воздух.

– Ну, а теперь айда гулять! – хитро сощурившись, предложил Дяборя. и вскоре Мэл стал участником зрелища, которое запомнил на всю свою недолгую жизнь.

Созданное их руками существо поднялось метров на пятьдесят и медленно поплыло вдоль реки, повторяя ее излучины. Теперь уже трудно было представить истинные размеры странного тела: вполне могло показаться, что оно гигантское и летит очень высоко.

Солнце весьма выгодно выявляло его тарелкообразную форму, на тихой улице Малышева стояло несколько ошара-

шенных зевак, тычущих пальцами в небо, на углу Пиотровского бульвара остановилась черная «Волга» и ее пассажиры недовольно посмотрели в небо из-под шляп. Прилетели! Прилетели! – кричал мальчишка, размахивая грязной майкой. Центр города был переполнен сотнями тычущих, окна домов были настежь распахнуты, кто-то наблюдал явление в бинокль, и посреди всеобщей паники, в самом сердце обманутого города, загадочно улыбаясь, ходили мужчина и двое детей... *Мы были когда-то счастливы!* Мэл и помыслить не мог, что вскоре этот пожилой человек станет его соперником в любви...

На другое утро Мэл, в ожидании новых игр и шуток, рано проснулся и вышел во двор, но беседка была пуста, не было его друзей и на берегу, не появились они и после получаса одинокого раскачивания на скрипучих качелях. Вскоре бабушка позвала завтракать и между прочим сообщила, что дядя Боря и Олла рано ушли в город. Мэл был ошарашен прежде всего тем, что два человека, не знающих Санска, идут на экскурсию без него, законного гида.

Мэл взобрался на Лысую гору, петляя по хитрым кривым улкам, сокращая через чужие собачьи дворы, обошел собор, даже заглянул внутрь, из конца в конец прошел улицу К.Маркса... Их не было.

По серой деревянной лестнице (116 ступенек) Мэл спустился в Гидропарк, проверил аттракционы и лодки, зашел в комнату смеха, последовательно показавшись в каждом из

двенадцати кривых зеркал, совершил круг на Чертовом Колесе, высматривая беглецов в тайных углах парка. Их не было нигде.

Воспользовавшись фуникулером, Мэл попал в центр, осмотрел детский городок и музей тринадцати санцев, пробежал из конца в конец улицу К.Маркса, затем, трамваем позванивая, через мост прикатил на Пальмиру, где шатался, переходя с улицы на улицу, огибая прямоугольные кварталы, выглядывая из-за углов... День был удивительно солнечный, город окутывал золотистый туман, флюгеры и знаки на готических карнизах, колеблясь, исчезали из реальности, и вдруг, из магазина «Книги» выходящими, увидел Мэл тех, кого искал. Оба улыбались. Олла несла небольшой сверток, высоко прижав его к груди.

Приникая к стенам зданий, отстаиваясь в парадных, Мэл продвигался за ними. Солнце, глядя ему в спину (а им в глаза) помогало стать невидимкой. Они зашли в Детский мир – на груди Оллы появился еще один таинственный сверток. Мэл обогнал их сорным проходным двором и вышел из-за угла навстречу. Улыбки, на миг погаснув, возникли вновь, сменив качество...

– Мы не хотели тебя будить...

Мы. Вместе. Мы и ты...

Втроем они вернулись домой. Вечером сидели в беседке. Дяборя показал игру в Муху.

На листе бумаге чертится сетка, в ее ячейки вписываются

(угловатым, щемящим сердце почерком Оллы) буквы и цифры, берется муха, отрываются крылья, запускается на поле. Бегающая муха отмечает знаки, которые и складываются в слова предсказаний. Мэлу выпало: *ланджголицж8гно91*. Олле – *ыткане7654вук*. Дяборе – *крыс72*. После чего муха перевернулась кверху лапками, что означало конец гаданий. Зловещий смысл всего этого стал ясен немного позже...

В дальнем углу беседки к столбу был прикреплен треугольный фрагмент зеркала, взгляд Мэла, отразившись, падал на Оллу, он увидел, что лицо ее жутко перекошено, присмотрелся и понял: у девочки было два профиля: один, обращенный к Мэлу, изображал явную насмешку, другой, для Дябори, был возвышенно грустным, святым.

Олла уже не рассказывала Мэлу своих снов, она медленно удалялась, отлетая и делаясь все меньше. Когда он находил их, уединенными в беседке или на берегу, они замолкали, недоуменно смотрели на него, и Дяборя начинал новую тему беседы. Однажды, сидя на веранде, Мэл через два зеркала, в гостиной и коридоре, увидел, как Дяборя прижал Оллу к двери шкафа и коротко поцеловал в губы.

Дяборя, наслаждаясь своей победой, становился все более веселым и жизнерадостным, он неумоимо придумывал все новые развлечения, притворяясь, что делает это не только для Оллы, но и для Мэла, хотя и его отражение в зеркале было двуликим: Олле Дяборя показывал ласку, внимательную нежность, а Мэлу – какую-то глупую тыкву...

Узнав о том, что молодые люди увлечены страшными историями, Дяборя закричал от восторга и тут же выдал рассказ о Тыквочеловеке, который вырос на бахче, перегрыз росток-пуповину и явился среди людей. Внешне он ничем не отличался от обычного человека, но присмотревшись, можно было заметить необычную фактуру его кожи, а на ощупь она была твердой, гладкой, слегка влажной, как тыква, кабачок, или другое растение семейства тыквенных. Иногда его лицо полностью тыквенело, превращаясь в абсолютную тыкву, но чаще всего оно приближалось к обыкновенному человеческому лицу, и лишь временами проступали сквозь него черты тыквы, выросшей на бахче среди кабачков, патиссонов и дынь – чем на самом деле и был этот странный человек. Иногда он мог превратиться в тыкву не плавно, а рывком, можно сказать, одним мгновенным толчком или даже тычком, – Дяборя показывал, как он это делал, с выпученными глазами дергая вперед головой и произнося жесткий межзубный звук «стп!» – с которым, но гораздо громче, превращался в тыкву тыквенный человек.

Дяборя был писателем, по утрам Мэл видел, как он пишет в беседке, время от времени стряхивая ручку, крупным взмахом в сторону-вниз-назад... Каждый вечер, во время поздних бдений, Дяборя сидел посередине, так, что Олла была далеко, и старик-писатель перебивал ее запах, рассказывая, как новая Шахерезада, свою многосерийную историю, где Тыквочеловек, так же как и Мэл, ненавидел людей с бо-

родами. Он страшно завидовал тем, кто мог ходить по улице, поглаживая свою бороду, усмехаясь в бороду, промокая полотенцем бороду, собирая в кулак свою бороду и нюхая ее. Ненависть к бородатым была жуткой, физиологической, их хотелось таскать за бороды по лестницам, бить головой о ступени, наслаждаясь их слабостью, унижением, поскольку все эти бородатые были такими одинаковыми, такими умными на вид, и Мэл смеялся над ними, презирая их, что не мешало ему ненавидеть их и завидовать им.

Тыквочеловек преследовал бородатых, выслеживал их в темном лесу, подходил вплотную и превращался в тыкву с громким звуком «стп!» – бородатые (а их тонко организованная нервная система не была рассчитана на подобный внезапный удар) умирали на месте от разрыва сердца, а Тыквочеловек таскал их трупы за бороды, всячески издеваясь над ними: он отрезал их головы, насаживал, сопя, на палку и бегал по лесу, затем он стучался в окна, где жили бородатые, и показывал головы их женам, прыгая и хохоча внизу, с длинной палкой в руке – в такие моменты он был больше всего похож на тыкву, когда она смеется, катаясь по бахче на скрученном корне, тревожа собственные листья и с глухим стуком толкая соседние, грустные тыквы.

Чернильные пятна на полу превратились в сплошное чернильное пятно, и оно приобрело странную форму человеческой фигуры: голова – где попало наибольшее количество брызг от Дябориной ручки, покатые плечи – где брызги разо-

шлись веером. Олла и Мэл стали героями бесконечной истории, потому что Тыквочеловек напал на след Оллы, у которой были чудесные, длинные и белые, очень шелковистые и нежные на ощупь волосы – Дяборя трогал их и осторожно гладил, демонстрируя Мэлу их шелковистость и блеск. Тыквочеловек должен был заманить Оллу в темное место, напугать ее до смерти и снять с нее скальп, но девочка гуляла только днем, по светлым и людным улицам города, в котором жила, чудесного города, где были островерхие готические крыши с флюгерами в виде животных и человечков, где по воскресеньям в воздух взлетали разноцветные шары, где старые серые стены молча, чопорно, словно какие-то слепые зеркала, свидетельствовали о тебе, где миниатюрные цветочницы в кружевных чепчиках лелеяли розы, полные скрытых взрывов душистой пыльцы, где по крутым и узким улицам, ощутимо накрываясь на поворотах, сбегаешь на набережную кораблей, и свежий ветер моря хочет сорвать твою голубое ситцевое платье... А вечерами, когда начинало темнеть, прилежная девочка (Дяборя погладил ее по голове и шутливо поцеловал в щеку) возвращалась домой... Тогда коварный человек решил подговорить друга Оллы, блистательного мальчика Мэтора, чтобы тот выманил ее вечером из дома, отвел в лес и оставил одну. Да, сказал маленький Мэл, бессильно злой на Оллу, – именно так я и сделаю, где этот Тыква-Человек? – на что большой Мэл возразил, что шутка звучит глупо, но было уже поздно: Олла презрительно

смерила взглядом нормального живого Мэла... Тогда Тыквочеловек вышел из шкафа и остановился перед Мэлом, который за столом мирно делал уроки. Он стал шантажировать его, угрожая немедленно превратиться в тыкву – тычком, на его глазах, с мерзким, умопомрачительным звуком «стп!» но Мэл сказал, что он не боится тыквы, какой-то вздорной огородной тыквы, которую он может пнуть ногой, несмотря на то, что она смеется, катаясь на длинном своем корешке, но сам не поверил собственным словам и сразу увидел: Дяборя и Олла также не верят ему, Олла – с нескрываемым презрением, а Дяборя – с плохо замаскированным чувством досады... Тогда Тыквочеловек предложил Мэлу игрушки, тысячи новых игрушек, которые не снились никому из сверстников: тут были и самоходные ползающие черепахи, которые могли часами двигаться по полу, хитроумно обходя препятствия, почти не отличаясь от живых, и даже летающие радиоуправляемые осы, которые могли по приказу мальчика жалить кого угодно, но Мэл отказался от подношений тыквы, хотя и подумал, что с помощью этих ос может завладеть миром, убивая и держа в страхе правителей разных стран... Тогда Тыквочеловек решил взять Мэла хитростью и тем самым добиться волос Оллы. Он наслал на Мэла любовь к Олле, ведь она такая красивая и умная девушка, и нельзя в нее не влюбиться (Мэл покраснел, как обычно краснеют рыжие, так ярко, что было заметно даже в полумраке этого вечера) а влюбившись, он сам должен был искать темных уединенных

уголков с Оллой, поскольку в любви наиболее важно найти темный, скрытый от посторонних уголок, на что Мэл при-творно расхохотался, вспомнив близняшек Асю и Азу, а Олла посмотрела на него с сожалением. И вот однажды наступил день, вернее, ночь, когда Тыквочеловек понял: от умного, хитрого мальчика Мэла добиться ничего нельзя, и решил пойти прямо к Олле, и для верности взять с собой золотистозеленую Убивайю, но тут кончилась очередная – и как потом, после чудовищных событий этой ночи оказалось – последняя серия романа о Тыквочеловеке.

Они распрощались на веранде, напоследок Дяборя по традиции достал три таблетки сладкого витамина, три черных твердых горошины, Олла поглядела на небо, где полная луна уже взошла и стала маленькой, облако, мутной ореольной формой напоминавшее трехпалую руку, медленно протерло серебристый диск, лицо Оллы было белесым, тень облака скользнула по нему, оба – Мэл и его старший соперник – одновременно увидели ужас, который отразился в ее глазах, и переглянулись...

Дяборя ночевал в комнате Мэла, поскольку в тот август весь дом был переполнен гостями, и поздно, когда Мэл разделся и лег, Дяборя молча покурил у окошка, глядя на цепи городских огней и торжество луны на крышах домов, затем сообщил, что идет играть в преферанс с гостями, и исчез, улыбаясь. Мэл мысленно проследил его путь по дому, полному тишины. Мэл знал, что сегодня никто не собирался иг-

рать в карты.

Он выскользнул из комнаты и прокрался по коридору в гостиную, которая, как и ожидалась, была пустой, лунные пятна горели на спинках стульев, Мэл спустился по винтовой лестнице в нижний коридор и через окно столовой выбрался на карниз, ночной ветер надул его рубашку, мальчик оглянулся и посмотрел вниз, где на сгибах волн поблескивала пресловутая луна... По течению проплыло длинное гладкое бревно, казалось, оно извивается в близком фарватере реки. Мэл заметил, что из окна Оллы вытекает розовый колеблющийся свет, какой может изобразить только живое пламя свечи.

Широко раскинув руки и вжавшись в стену (Мэл знал, что здесь неглубоко, всего по шейку, но черная, в трех метрах под ним монотонно текущая вода, казалась опасной) дрожа всей грудью, он продвинулся по карнизу, замер, достал из кармана зеркальце и через него, двумя пальцами поставив его углом, заглянул в окно.

То, что он увидел, запомнилось ему на всю жизнь: горящая свеча истекала стеарином в черном чугунном канделябре, причудливым скрещением теней вибрировал потолок, а на полу, на ковре, мерно покачивался на руках над распластанной Оллой писатель, чьи четко выраженные суховатые мускулы были белыми, словно корни растения. Больше всего Мэла поразило, что они оба высунули языки и двигают ими, будто ищут чего-то, и годы спустя, уже будучи у Бориса

Николаевича в Москве и беседуя с ним на самые серьезные темы, Мэл представлял себе его белое бесстрастное лицо с крепко зажмуренными глазами и высунутым, как у утопленника, языком...

Когда Дяборя вернулся в комнату, почесываясь и напевая, он застал Мэла мирно читающим в постели.

– Проигрались, поручик? – спросил Мэл, снисходительно улыбаясь.

– О нет, милорд, очень даже выиграл.

При этом Дяборя потряс карманом куртки, где плеснулась мелочь, затем разделся (несколько медяков выпали и беззвучно закружили по ковру) лег, поставил пепельницу себе на грудь и с наслаждением закурил. Ему явно хотелось поговорить.

– Ты сам не понимаешь, – продолжал он тему, начатую еще вчера (это была его привычка, делать паузы по нескольку дней, как бы для того, чтобы юный собеседник мог основательно подумать) – не понимаешь, как прекрасен город, в котором ты живешь. Неужели тебе не нравится бродить по улицам и лестницам, почти ялтинским, в районе Старой Мельницы, или проезжать на велосипеде по ровной как плац Пальмире? Неужели противно смотреть вечерами на возрастающие цепочки огней Старого Города, где множество окон являют собой эффект бесформенного, сверхмногоэтажного здания, гигантского в основании, как Вавилонская башня, или смотреть снизу на группу пятиэтажных домов барочной

постройки начала века, на самой вершине Лысой горы, они и днем и ночью видны как на ладони и кажутся крошечными вычурными кораблями? Или как страшно, а вовсе не весело идти по улочкам сверху вниз, среди дворов и заборов Черной слободы домой, когда цепной реакцией развивается собачий лай, и так хорошо на душе... Мэлор, посмотри, тебе не кажется, что тапочек ползет по полу, не землетрясение ли тут еще началось?

– Нет, это *вам* так кажется, – сказал Мэл, ослабив нить.

– Так вот, – продолжал Дяборя, – ты еще не понимаешь, что с возрастом жить становится лучше, интереснее, все ярче чувствуешь краски и формы мира, все полнее испытываешь самые простые ощущения – вкус, например, или запах, прелесть движения, спорта, гибкость своего тела... Поймай-ка! По-моему, он все-таки ползет, смотри!

Он нервно двинул вперед головой, будто хотел превратиться в тыкву. Мэл продолжал медленно, очень медленно тянуть нить, отвечая:

– Что вы, Дяборя, это вам *кажется*, уверяю вас.

– Ладно, – вздохнул Дяборя. – Так на чем мы остановились?

– На наслаждениях.

– Ах да, наслаждениях... Разве я произнес это слово? Странно... Вот, к примеру, звездное небо. Почему мы раз и навсегда решили называть на нем одни и те же сочетания звезд? Почему воображению не чертить какие-нибудь дру-

гие, новые фигуры? Почему не объединить два разных созвездия в одно, и наоборот?

– А-а-а! – вдруг шепотом закричал Мэл, показывая на тапочек.

– Что, – восторженно воскликнул Дяборя, – ползет?

– Да, – прошептал Мэл. – Медленно.

Но тапочек стоял на месте и вновь пополз только тогда, когда Дяборя откинул голову и, не сводя с тапочка глаз, перешел к рассуждению о цвете морей и океанов:

– ...Солнце всегда по-разному освещает их поверхность, и, похоже, они ни разу за миллиарды лет не излучали двух одинаковых цветов... И все-таки ползет!

– Нет, – сурово сказал Мэл.

Тапочек медленно и неотвратно двигался по полу, в полной тишине...

– А знаешь, – сказал вдруг Дяборя без тени улыбки, – ползающие тапочки водятся только в стране дураков?

Мэл понял, что его сразу раскусили и только издевались над ним. С этими словами Дяборя встал и выключил свет, так и не дав Мэлу исполнить последний трюк. Он намеревался рывком дернуть нитку, чтобы тапочки взвились в воздух и бросились на Дяборю, и он уже ясно представлял себе жалкого голого мужчину, пулей выскакивающего из постели и постыдно убегающего вон...

Спустя несколько минут Дяборя захрапел, а спустя годы отомстил Мэлу сходным способом, когда Мэл приехал

в Москву и жил на даче Бориса Николаевича, в Алешкиных садах, и вместе с его сыном готовился к вступительным экзаменам, и приехал сам Борис Николаевич, и засыпая, Мэл слышал в доме странные звуки, шаги, сдавленный девичий смех, и где-то на грани слуха – девичьи крики: Дяборя крутил магнитофонные записи, включал скрытые источники света, устраивал внезапные падения книг и картин, и однажды ночью в окно заглянула Олла, статуя мертвой Оллы в бледном свете луны – и Мэла тогда подвели почки, и он мучительно соображал, как тайком выстирать и просушить постель, а в ту ночь, в Санске, едва Дяборя уснул, Мэл встал, взял свою одежду и тихо вышел в коридор, там оделся, затем беззвучно скользнул по лестнице и на цыпочках пересек двор. В щели за дровяным флигелем он разыскал и отряхнул от успевшей нарасти за вечер паутины небольшую тыкву, которую они с Дяборей уже несколько дней выдалбливали по ночам, тайком от Оллы, а днем сушили на солнце, надев на черенок от сломанных еще в прошлом году ржавых граблей. Тыква была почти готова, оставалось только вырезать глаза, нос и рот, что Мэл сделал довольно быстро, импровизируя. Посмотрев на свою работу, в лицо, являвшееся рваные щели глаз, огромный, в полтыквы щербатый рот, Мэл содрогнулся от ужаса...

Обойдя дом по карнизу, он добрался до окна Оллы. Окно было темным, все было немного иначе, чем два часа назад – луна ушла и вода стала черной, глухой. Мэл зажег свеч-

ку, надел тыкву на руку, поднял ее невысоко над краем окна и постучал в стекло костяшками пальцев. Ему показалось, что из комнаты донесся слабый девичий крик, а в темноте за стеклом мелькнуло грузное тело Убивайи...

Утро было солнечное, светлое, дом просыпался бодро, в саду гремел умывальник, звучали гулкие, как в железной бочке, голоса, слышно было, как на веранде скрипит колесами и поет старые боевые песни дед, мать Оллы шла по коридору и звала Оллу, звонко журуя ее на родном языке за слишком долгий сон, за окном по улице усердно протарахтел трактор, на несколько секунд смешавшись с ревом обогнавшего его мотоцикла, крупная муха билась о стекло, улетала вглубь комнаты и вновь возвращалась к свету, с тупым звуком тычась в невидимую преграду, «Олля! Трикас си те лика! Вставай!» – и вдруг ужасный, протяжный вопль поглотил остальные звуки, он воцарился во всем доме и прошел сквозь стены, взорвался на самой высокой, уже нечеловеческой ноте и затих, сменившись частой дробью многих ног.

Прибежав в комнату Оллы, домашние увидели, что она мертва. Девочка лежала навзничь с широко раскрытыми остекленевшими глазами, в них застыл ужас, рука тянулась к шнуру звонка.

Вскрытие установило смерть от инфаркта миокарда, то есть, от разрыва сердца. Только один человек на Земле знал истинную причину этой смерти.

(Несколько дней тыква, сидевшая за стеной дровяного

флигеля, была объектом его терзаний, и как-то утром, тщательно проверив, что сад пуст, он наконец решился, взял ее, густо обросшую паутиной, пронес на вытянутых руках и сбросил в реку. Глотнув воды, голова наклонно затонула и покатилась по дну, туманясь и пережевывая песок, но через несколько дней, как бы описав круг, вернулась сверху по течению, с гулким стуком ткнувшись о мостки, будто некий плавучий гроб, и выглянула, когда Мэл, обливаясь зловонным потом, удил рыбу. В тот же вечер, при удачном скользющем свете, он заметил на скамье в беседке полустертую надпись, сделанную Дябориной рукой: ...*Убивайя ее...*)

Через год после описанных событий в Санск на каникулы прибыл Андрюша Стаканский, сын Дябори, печальный молодой человек с большими серыми глазами, и ровесники быстро сдружились.

Это был возраст важных жизненных открытий, и многие из них они тогда сделали вместе. Они бродили по темным переулкам Гаевой Пэстыни, где в сражениях с местной шпаной его новый друг проявил неожиданную храбрость и высокий класс мордобоя, шатались по бульварам и улице К.Маркса, где Стаканский отличился умением непринужденно зацепить девочку, они сидели в летнем кинотеатре Чкаловского парка и ели мороженое, у Старой Мельницы брали бутылку вина (тогда вполне хватало одной на двоих) и долго рассматривали звезды на берегу, и рассказывали...

Стаканский рассказал историю «Майя», которая займет свое место во второй части романа, а Мэл умолчал уже прозвучавшую историю «Олла»... И некому было взять их за руки, заглянуть ласково в глаза и сказать: *Слушайте, несколько лет вы будете друзьями и будете многое вместе делить, но в один момент, я бы не сказал, в один прекрасный момент, вы расстанетесь из-за бабы – навсегда.*

– Что жизнь с ее вечным движением в будущее? – осенью писал Стаканский из Москвы, невольно имитируя лер-

монтовский стиль. – Будущее наступает изо дня в день, не успеешь оглянуться и – весна, конец ненавистой школы и фатальная необходимость нового жребия. Отец настоятельно советует мне поступить в МИРЕУ, у него там влияние в первом отделе, волосатая так сказать лапа, какой-то дру детства... Он намекнул, что может провести и тебя, если ты, конечно, найдешь в себе силы навсегда порвать с городом детства. А моим занятиям живописью и жизнью решительно безразлично, какому вузу отдать эти мозги...

Разумеется, Мэл был рад возможности уйти из Санска. Зимой он приехал к Стаканским на несколько дней каникул, Дяборя, теперь уже называемый Борис Николаевич, подтвердил свое намерение пихнуть обоих молодых людей в МИРЕУ, Москва поразила Мэла изобилием, казалось, он впервые в жизни понял, что такое на самом деле – город. Небоскребы и тройные эстакады, широкие автомобильные проспекты, гигантские кинотеатры, метро, напрочь уничтожающее пространство, тождественность телевизионного и реального изображений...

Москва полонила санские сны Мэла, там, в этих герметических, лично ему принадлежащих пространствах, он выходил за ворота своей школы и, свернув в 7-й Мощный переулок, вдруг оказывался на площади, где по карнизу здания бежали рекламные символы, и чья-то длинная внимательная рука манила его из-за стеклянной двери метро...

Школу он закончил с двумя тройками, дедушка белой

старческой рукой – такой старой, в крошечных смертельных пятнах – подарил ему неизносимый портфель крокодиловой кожи, на выпускном вечере, в парке Чкалова, Мэл умыкнул под летнюю эстраду белокурую девушку из параллельного класса, она оказалась невинной, громко, зычно стонала от боли, закусив губу, в июле он с отвращением читал учебники, справедливо полагая, что несмотря на волосатую лапу, надо хоть что-нибудь знать, мама благоговейно подавала в беседку поднос с легким завтраком, было сухо, безветренно, не слишком жарко, плоды на огороде медленно увеличивались в объеме...

В день отъезда Мэл проснулся с горьким ощущением перемены мира, оно длилось секунду, но было столь подробным, что само время сделало внезапный скачок. Зеркало напротив кровати не отражало ничего, оно было темносерого цвета, также и комната, которая должна была в нем отражаться, выглядела странно: дрожали цветы на обоях, шкаф прогнулся, приобретая форму рояля, и мерно раскачивалась люстра, да, именно увидев эту реальную маятниковую люстру, Мэл понял, что не спит – и ужас охватил его: «Умер!» – прошелестело в голове.

Тут же включился слух, он услышал мерный вкрадчивый треск, будто в комнате работает камин, и подлинный смысл происходящего дошел наконец до него. Едва успев натянуть штаны, он осознал, что ему уже нечем дышать, и услышав сильнейшую головную боль, ринулся в коридор, где также

стояли плотные слои дыма, извращая мебель, а из комнаты Оллы вырывалось пламя.

Повернув в гостиную и вбежав по лестнице, Мэл наткнулся на мать: в прозрачной ночной рубашке, жалкие дрожащие груди, она простерла к нему руки, схватила его за плечи, Мэл оттолкнул ее и кинулся вдоль по галерее, пытаясь открыть окна... Воздуха в доме уже не было.

Мэл вдруг понял, что заблудился и не знает, куда ведет какая дверь, он понял, что бороться бессмысленно и что именно так выглядит смерть, но тут он заметил яркий дневной свет, пошел на него, потом побежал и, сломав какую-то хрупкую преграду, вылетел на воздух, в солнечные лучи, весь в осколках стекла и собственном захлебывающемся крике (словно снова рождаясь на свет) плюхнулся в реку, встал на ноги и огляделся, стекая вместе с мутными струями.

Дом, серой громадой поднимавшийся из воды, был еще цел, если не считать только что разбитого окна, но изо всех щелей сочился густой дым, и за стеклами верхнего этажа был виден розовый бликующий огонь.

Мэл поднялся через сад, выбежал на улицу и там увидел мать, отца и гостей: в нижнем белье они растерянно озирались по сторонам, хватали друг друга, кто-то побежал к телефону, улица наполнилась соседями, где-то наверху замелькали красным пожарные машины, вдруг взлетела черепица, и пламя вырвалось через крышу... Когда приехали пожарные, крыша уже обвалилась, и от жара на улице стало невы-

носимо, а при первых проблесках воды из брандспойтов – страшной силы взрыв потряс окрестности, стекла ближних домов вылетели совершенно целыми и раскололись внизу – это лопнули на кухне газовые баллоны. Дом содрогнулся и сложился, как бы войдя сам в себя, и последующие часы пожарные деловито поливали дымящуюся грудку обломков.

Позже, когда они кое-как разместились у соседей, отец повторял, что крики дедушки были слышны даже тогда, когда огонь прошел сквозь крышу, и стихли только после обвала...

Это событие на две недели отодвинуло отъезд, скомкало подготовку к экзаменам, Мэл отвалил из Санска, проклиная его улицы, и в последний раз, на вираже наклонившись вместе с семидесятью угрюмыми пассажирами, чуть не задев крылом колокольню собора, плюнул вниз, смачно и весело, и ему было безразлично, на чью потную лысину упал его жирный плевок.

Через полтора часа самолет спланировал в аэропорту Быково, и пять лет спустя Мэл любовался изгибом Анжелиной спины, сомнамбулически раскачиваясь и сдерживая оргазм. Когда все кончилось, они сидели по-турецки и курили сигарету на двоих, трогательно передавая ее из пальцев в пальцы, вдруг в неожиданном повороте ее головы он признал Оллу и мгновенно вспомнил, словно мысленно сфотографировал время, связанное с нею.

В эти тяжкие, с трудом преодолимые дни Мэл стремился чаще бывать на людях – одиночество и мучило его, и угрожало прямой опасностью. В течение недели Мэл пил с кем попало: в другое время он не позволил бы себе ни малейшего слабоумия с такими людьми... Так, во вторник, не найдя Стаканского ни в институте, ни дома, Мэл скентовался с комитетчиками, официальными стукачами. В ПНИ люди такого сорта не ходили, боясь засветиться, члены бюро облюбовали себе маленький пивняк на конечной остановке 27-го трамвая, называемый Коптевский пивной зал, сокращенно – КПЗ. Там во вторник и напились.

В среду, опять не дозвонившись Стаканскому, Мэл заехал к приятелю в овощной магазин, где он когда-то тайно подрабатывал грузчиком, и они славненько напились «Золотой осени» и мокрым вечером на Новослободской безуспешно приставали к женщинам – пьяно, глупо, выходя из кустов и падая в лужи... Они пели песни, ночью чуть было не попали в милицию...

В четверг Мэл случайно встретил во дворе института с каменным ликом проходящую Веру, поздоровался, небрежно пригласил в кафе, она с гордым видом согласилась. Взяли: бутылку «Лучистого», бутылку «Стрелецкой», два пива. Мэл повел бывшую подругу в приличную стекляшку на Са-

мотечной, где был дым, свет люминесцентных сильфид, запах медленно хмелевших мужчин и женщин...

Они развеселились. Вера добродушно поносила Анжелу, дурацкие заскоки своей подруги, ее провинциальную нечистоплотность, но, не найдя поддержки этой теме, перевела разговор на другую: спокойно, будто бы о давно прошедшем, рассказала о своих ощущениях от самоубийства, о трюке с таблетками... Мэл видел, как она счастлива с ним, и чувствовал досаду... Вечером вдруг, когда они вышли на улицу, боль в паху сделалась невыносимой, и он, затащив девушку в парадное на Цветном бульваре, освободился.

Едва он вошел в свою комнату, как постучалась Анжела. На сегодня хватит, подумал Мэл и не открыл дверь.

(Она появлялась каждую ночь, делая вид, что не замечает его пьянства, она нравилась Мэлу все меньше, забрасывала его сентиментальными стихами, преданно смотрела в глаза... Мэл не любил таких отношений. Ему всегда хотелось чувствовать некую тайну в женщине, даже самой обыкновенной, извлекать тайну из банальной оболочки, словно вытаскивать одну из другой, как вытаскивают тело из платья. Так вот: Анжела была начисто лишена какой бы то ни было тайны, он видел девушку легкой, легче воздуха цветной формой, скачущей по комнатам – откроешь форточку и улетит. Она слишком скоро заговорила о своей любви, требуя ответных излияний, но Мэл прекрасно знал, что его отношения с женщинами, даже в самый ранний волнующий период, были

далеки от так называемой любви. Больше всего на свете ему нравилось теплыми летними вечерами выходить из метро в центре и одиноко гулять по бульварам: много неясных в полутьме силуэтов, обрывки фраз, шелест... Он бесцельно ходил за какой-нибудь женщиной, не стараясь познакомиться и радуясь собственному бескорыстию (если она была далеко, боль в паху казалась даже приятной...) Он пил кофе в кулинаруии у Англицкого клуба, смотрел сквозь витрину на улицу, перемешенную с интерьером, потом неспеша возвращался домой. стараясь прошмыгнуть никем не замеченным, ложился не раздеваясь на кровать, лежал в темноте и, томно засыпая, думал, что когда-нибудь он все-таки женится, как все люди, необязательно, хоть и желательно, на москвичке, но непременно – по любви. Такие вечера он считал праздниками...)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.